

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

# МОИ НЕВЕСТЫ



**ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ**

# **МОИ НЕВЕСТЫ**

**РАССКАЗЫ**



КОСТРОМА 2009

Настоящая публикация подготовлена  
КООУ АМОР «САМОСОТВОРЕНИЕ»  
имени писателя В.Г.Корнилова

<http://samosotvorenje.narod.ru>

Ответственный редактор - Корнилов И.В.

Контакты:

[samosotvorenje@gmail.com](mailto:samosotvorenje@gmail.com) ; [samosotvorenje@mail.ru](mailto:samosotvorenje@mail.ru)

Текст рассказов приведён по изданию:  
В.Корнилов «Мои невесты», РИСОД, Кострома, 2002

Оформление, обложка - В. Неймарка  
В компьютерной графике использованы работы  
художника Юрия Ракши

# Коротко об авторе



**ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ КОРНИЛОВ**  
(22.03.1923 - 19.07.2002)

*«Стараюсь умы людские  
к жизни человеческой побуждать»  
(Роман «Идеалист»)*

**Владимира Григорьевича Корнилова** по праву называли «Золотым пером» России. Но, не только творчество сделало его, уже при жизни, замечательным человеком...

Появившись на свет в 1923 году, в Ленинграде, он рано и пылливо стал познавать мир. Служба отца - ученого и ведущего специалиста в области лесного хозяйства - к восемнадцати годам заставила Володю объездить практически всю страну, видя не только парадные ее стороны, но и далекие от столичного блеска уголки нашей необъятной державы. Его всегда и везде интересовали три аспекта бытия: совершенный мир природы, внутренний мир человека и отсутствие гармонии между первым и вторым...

Совершеннолетие его совпало с 1941 годом – на Родину напал враг. Пройдя препятствия медкомиссии (проблемы со зрением - ему был положен вполне законный "белый билет"), он учится и добровольно уходит в действующие войска в качестве военфельдшера. Честно исполняет свой солдатский долг – чему свидетельство – боевые ранения и заслуженные фронтовые награды. Желая сделать больше обязательного, в свободное от основной работы время, он берет снайперскую винтовку и выходит на непростую охоту за врагами его Отчизны... Но, в начале 1944 года, в боях под Витебском, получает тяжелейшее ранение и, спасая ему жизнь, врачи проводят «высокую» ампутацию обеих ног. Володе Корнилову только-только исполнилось 20 лет...

Так начался тернистый путь преодоления своего увечья. Появился бесценный опыт, а с ним и желание поделиться, помочь искалеченным войной найти свое место в жизни, а главное - самому не стать обузой, иждивенцем, но полноценным членом общества. Тогда Владимир Григорьевич выбирает путь «инженера человеческих душ» – с успехом оканчивая Литературный институт имени М. Горького в Москве. Воспитанный в по-настоящему лучших идеалах коммунистического сознания, он не выбирал то, что будет полезным для него. Считал, - в первую очередь, должен делать то, что надо его Родине. Поэтому более 30 лет своей жизни отдал творчеству других, возглавляя сначала Куйбышевскую, а потом создавая и руководя Костромской писательской организацией, неоднократно избирался ответственным секретарем Союза писателей СССР. **Быть нужным для других - стало для него самой главной работой!**

Зато все немногое, оставшееся от общественных забот, время уже безраздельно принадлежало его собственному творчеству. Очерки, рассказы, пьесы, кропотливая работа над романом и, наконец, заслуженное признание – в 1985 году он был удостоен Государственной премии в области литературы, за первую и вторую книги - «Семигорье» и «Годины», из его семейно-философской трилогии, ставшей литературным отражением и трудом всей его жизни.

Третья книга - «Идеалист», создавалась долго и мучительно – человеку твердых жизненных убеждений, трудно было осознать и принять процессы, потрясавшие в это время его любимую страну. «Перестройка», «распад СССР», «приватизация», «рыночная экономика» – героям его трилогии, воспитанным на энтузиазме тридцатых, опаленным в огне сороковых и выстоявшим душой в трясине «эпохи застоя», как и самому автору, было мучительно тяжело все это понять. Ему, человеку, победившему увечность своего тела, казалось намного проще на протезах управлять автомобилем и снегоходом, ходить на лыжах, стараясь внешне жить как обычный, рядовой человек. Опираясь лишь на трость, забываясь в любимой охоте или рыбалке, выполнять всю «мужскую» работу на небольшом участке в загородном доме, чем понять «целесообразность» тех великих унижений, потрясших его Россию. Только природное жизнелюбие и святая вера в истинность высокого предназначения каждого - постигнуть нелегкую науку: «быть Человеком» – позволили Владимиру Григорьевичу закончить «роман всей своей жизни» оптимистическими аккордами победы устремлений ищущего разума над затуманивающими страстями обыденности...

Его ум был полон замыслов, его рука уже писала главы четвертой книги, но... долгожданный, юбилейный сборник рассказов «Мои невесты» автор не увидел – 19 июля 2002 года Владимира Григорьевича не стало среди нас, живых. Осталось его творчество – славен удел талантливого писателя - говорить даже после физической смерти! И осталась память о его пути, который был яркой жизнью настоящего Человека и Гражданина. Недаром последний рассказ сборника – «Завещание» заканчивается словами: **«Я сделал все, что мог. Пускай сделают то же другие»...**

# МОИ НЕВЕСТЫ



*От редактора:*

*Владимир Григорьевич всегда пресекал попытки поиска строгой автобиографичности в своих произведениях. Он настаивал на праве художника творить, а не просто фиксировать события из окружающего мира. Однако, все его произведения настолько наполнены личными впечатлениями, подмеченными и бережно сохраненными чуткой и внимательной, даже к самым незначительным мелочам, душой, что все переживания его героя становятся необычайно близкими и жизненно правдоподобными. И до сих пор заставляют читателей сопереживать его поискам и ошибкам, заблуждениям и разочарованиям, радоваться даже самым маленьким победам в нелёгкой борьбе за право стать и оставаться Человеком... И, несмотря на то, что все эти впечатления - длиною в целую и очень-очень непростую жизнь, издатели твёрдо верят, что для кого-то они обязательно станут точкой отсчёта в новом восприятии и понимании своей, внешне непохожей на описанную, но такой же требовательной к каждому из нас Жизни...*



1944 год. На фронте гремела орудийная канонада. А он, двадцатилетний лейтенант Владимир Огневцев, лежал в госпитале в Москве без ног.

### **ПИСЬМО ПЕРВОЕ**

Дорогой Владимир! Шлю Вам привет из маленького нашего городка, на реке Вятке, из школы, которую так недавно и так блестяще Вы закончили. Вы спрашиваете, Вы сомневаетесь, помню ли я Вас? Ну, как может учительница не помнить своих учеников? Хотя перешли Вы в нашу школу прямо в 9 класс и учились у нас всего полтора года, я помню Вас до мельчайших черточек характера. И Вашу задумчивость, не всегда относящуюся к теме урока, и Вашу стеснительность, когда Вам приходилось о чем-то спрашивать, и как заливала Ваше юное лицо краска стыда, когда открыто и честно Вы признавались в том, что не успели выучить урок. Признаюсь, когда я слышала Ваш осуждающий самого себя голос, мне хотелось не выговорить Вам за неприготовленный урок, а поблагодарить за честную оценку самого себя.

Ведь был это только второй год моей работы в школе после окончания института, и романтического студенческого было во мне много больше, чем преподавательского! И то, что была я классным руководителем у Вас, уже готовых перешагнуть из школы во взрослую жизнь, порой вызывало во мне совсем непедагогическое чувство растерянности.

Нет, дорогой Владимир, все до ясности помню. И потому после Вашего письма не могу успокоиться, спазма сжимает горло от бесчеловечных ударов войны.

Не знаю, утешит ли Вас то, что из семи ребят вашего десятого выпускного, в живых остались только Вы и Толя Крупин, который не попал на фронт из-за плохого зрения. Из девчат погибла Аня Чемодакова (работала радисткой в тылу у немцев), Лена Шабанова (сгорела в самолете при боевом вылете). А война не кончилась. Сколько еще смертей и страданий вбросит она в нашу жизнь!

И все - таки, дорогой Владимир, я рада, что Вы не отчаялись. Если вы запросили дубликат аттестата об окончании школы, значит, не сломлен Ваш дух, значит, думы Ваши о будущем. Аттестат высылаю отдельно ценным письмом. И не скрою: гордилась, заполняя его оценками Вашей успеваемости. Нет, Вы не сникните перед случившимся несчастьем. С Вами такого не может быть! Вы утвердите себя в жизни. И верю - жизнь еще распахнется перед Вами своей счастливой стороной.

Помните Фауста:

"Лишь тот достоин жизни и свободы,  
Кто каждый день идет за них на бой!"

И будет день, когда и Вы, Владимир, сможете воскликнуть: "Остановись мгновенье, ты прекрасно!"

Крепко жму Вашу мужественную руку. С приветом к Вам,

Ольга Николаевна, июль, 1944 г.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Володя! Аттестат, надеюсь, Вы уже получили. А на меня, Володя, свалилось несчастье: приказали быть директором школы. Да, именно для меня это - несчастье. Мечтала поучиться в аспирантуре, а из директорства разве скоро вырвешься?! Учебная работа не страшит, тем более, при таком завуче, как Елена Ивановна. Помните своего учителя математики?

Вот педагог от бога! Ради школы отказалась от всего, даже семьи не завела, чтобы не делить надвое энергию своей жизни. Зато как точны и доходчивы ее уроки! Таких бы несколько учителей на коллектив, как бы возвысилась школа!

Моя нынешняя жизнь - сплошные хозяйственные заботы. Ремонт не закончен, а учебный год на носу. Ни материалов, ни работников. Кручусь в этих хозяйственных мелочах до изнеможения, как белка в колесе. А что делать? Приказали, надо выполнять.

Володя, я поддержала бы Ваше стремление поступить в медицинский институт. Где-то я читала про известного хирурга профессора Богораза. Он тоже, Володя, остался без ног, но продолжал делать искусные операции. Значит, такое возможно! Вижу Вас в белом халате, склонившимся над операционным столом.

Ольга Николаевна.

## **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА**

Володя, в последнем Вашем письме много полезных советов по хозяйственным делам. Удивляюсь Вашим верным догадкам. Вашему опыту, накопленному где? - среди огня и смертей?! Это - удивительно! Но зачем эта ненужная скромная ссылка на то, что вот яйца стали учить курицу? За эти страшных три года Вы прошли такие университеты, что, честное слово, я почувствовала себя скорее ученицей, чем Вашим учителем. И это не придумка, не лесть, это реальность жизни, переоцененная войной.

А в директорских моих заботах появилось и нечто новое, очень и очень трогательное. Начали учебу начальные классы. И вот уже приводят ко мне в кабинет малышню - нарушителей порядка. Какие же они забавные! Сначала ни в чем не сознаются! - головы опустят, сопят... А после двух-трех укоряющих слов вдруг распахнутся и залопочут. Тут и раскаянье, и слезы! Уйдут из кабинета, а мне и смешно и почему-то грустно, с такими малышками я еще не работала. Они совсем не похожи на старших ребят!

Здоровья Вам, Володя, и давайте договоримся - оба не будем унывать!

Интересно, как идет жизнь в Москве?



Здесь у нас, в городке, рыночные цены резко снизились. На муку, например, и на хлеб раза в три, по сравнению с зимними. Жить становится легче. А главное, чувствуется, скоро конец лихим годам, конец этой страшной, и хочется верить, последней в истории человечества, войне. Ведь должны же люди уметь от страданий!..

С приветом Ольга Николаевна, сентябрь, 44 г.

### **ПИСЬМО ТРЕТЬЕ**

Володя, Володенька?!

Давно от Вас нет писем. Получили ли Вы мое письмо и ценное письмо с аттестатом? Если нет, напишите, вышлю еще. Когда получите аттестат, в нотариальный отдел не обращайтесь, я его не пометила, как дубликат, он у Вас будет самым настоящим!

Вы писали об операции. Как прошла она?

Пишите. Я тревожусь.

Ольга Николаевна.

сентябрь, 44 г.

### **ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ**

Дорогая Ольга Николаевна!

Спасибо за все Ваши хлопоты. Аттестат получил, и письма Ваши очень и очень согревают. Когда прочитал про малышей в Вашем кабинете, сам не знаю, почему расчувствовался, да так, что даже слез не удержал. Захотелось увидеть эти повинные мордашки, погладить ласково по головам, шепнуть что-нибудь такое хорошее, чтоб губки растянулись улыбкой, чтоб глаза прояснили удивлением и восторгом! Откуда это у меня? Вроде бы не ко времени о таком мечтать!

К операции меня готовят. Это уже третья. Укоротят и без того короткий оставшийся кусочек левого бедра. И называется это все реампутация. А первые операции были в лесу, под Витебском, в медсанбате, куда привезли меня с перебитыми ногами.

В полутьме палатки, ближе к столу, на котором лежал, светили фронтовые коптилки. Там, где были мои ноги, суетился хирург повторяя: "Придется, придется, придется..." Что "придется", я уже знал. Состояние мое было настолько тяжелым, что наркоз давать было нельзя. Резал и пилил хирург по-живому. А потом в санитарном автобусе, забитом ранеными, повезли в Смоленск. Водитель боялся дневной бомбежки, торопился проскочить до рассвета все 80 километров фронтовой разбитой дороги, гнал, не жалея ни машины, ни нас, стонущих от непрерывной тряски. Боль в отрезанных культих была жуткая. В Смоленск прикатил с прокусанной губой.

Потом железнодорожные теплушки, медленное продвижение к Москве. В одну из ночей почувствовал что-то неладное, потянулся к культе, пальцы ткнулись в мягкость раны. Сбилась стерильная повязка, к открытой ране прилипла далеко не стерильная штанина. Сердце сжалось. Знал, за такую небрежность придется расплатиться дорогой ценой. Так оно и вышло. Под Москвой, в Наро-Фоминске, где нас сгрузили, в большом здании школы, оборудованном под госпиталь, началось общее заражение крови. Удивительное это состояние! Как будто кальмар опутывает тело липкими щупальцами и медленно сосет, высасывает силы. Тело хочет жить, но температура возносится едва ли не до 42. Час - два мечешься в лихорадочном удушье, потом вдруг пот прошибает, и в полном бессилии распластываешься на койке. Не успеешь в себя прийти, все начинается сначала. Неделя, вторая...

Уже не в силах поднять голову с подушки, с трудом поднятая рука тут же, как чужая, надает обратно на одеяло. Уже точно я знал: еще день и жизнь уйдет.

Есть, есть в человеческом организме рецепторы, чутко улавливающие подступающую смерть! И сознание считывает сигналы этих все чувствующих биологических точек.

Палату вел молодой врач, не хирург. Присел ко мне на койку, видимо плохо понимая, что со мной.

Помню, спокойно, очень спокойно сказал ему: "Завтра я умру. Прошу, сообщите, пожалуйста, вот по этому адресу... Отцу и маме... У меня же сепсис..." - добавил я.

И тут он по-настоящему заволновался. Пришла сестра со шприцем, влила мне в вену несколько кубиков спирта, Это был риск: или туда, или сюда... Трижды повторяли жестокое вливание и... И сознание, вдруг прояснело!

А через неделю появился в палате отец. Всегда он был со мной сдержан, суров. А тут вдруг приник ко мне и зарыдал...

Отец добился. Меня перевели в Москву.

Извините, Ольга Николаевна. Я не хотел об этом вспоминать. Как-то само собой получилось. Здесь, в Москве все по-другому. Боль физическую снимать умеют. Что до нравственных страданий - тут уж, что под силу каждому. Будем надеяться на лучшее. Успехов Вам!

Владимир, октябрь, 44 г.

## ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА

Дорогой Володя, Володенька! Не хочу, чтобы разделяли нас ненужные, надуманные условности. Из ученика ты давно превратился в учителя, и я пишу тебе "ты", Володенька! И очень прошу тебя так же обращаться ко мне.

Когда, читала последнее письмо твое, боль твоя была – моей болью. Я считала себя не слабым человеком. Но представила эту темную палатку, тебя распластано лежащего на столе, и эти безжалостные руки хирурга, я разрыдалась. Извини, наверное, я не должна была признаваться в этом...

Школу нашу готовим к празднику Октябрьской революции. Настроение у всех приподнятое. Победные салюты в Москве вдохновляют. А я, Володенька, в этой праздничной суете вспоминаю майскую демонстрацию 1941 года. Остался ли в твоей памяти тот солнечный, еще мирный Первомай?! У меня тот день и сейчас перед глазами: знамя школы было поручено нести тебе. И ты, высокий, сильный, красивый, идешь впереди колонны, и над твоей головой волнуется тяжелое пурпурное полотнище, прошитое золотом. И люди, заполнившие улицу, смотрят на тебя, любясь, даже восхищенно, и ты, смущаясь обращенными на тебя взглядами, все-таки неторопливо и твердо идешь впереди, и за тобой, весело с песнями движется вся колонна нашей школы!

А до войны оставалось пятьдесят два дня...

Ольга.

## ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ

Оленька! Операция позади и, кажется, прошла успешно, если не считать того, что на третий день прорвался шов, хлынула кровь. Паника поднялась нешуточная! Меня в операционную. Но все обошлось. Оказалась - послеоперационная гематома. Ничего страшного.

Но прочь разговоры о болячках. Ведь и в нашем страдальческом госпитальном мире бывают весьма и весьма забавные случаи. Вот один из них, Оленька. Лежу после наркоза. Доктор похлопывает меня по щекам, чтобы вывести из потустороннего состояния. С трудом открываю глаза. Все зыбко, предметы колышутся. Слышу голос доктора: "Наконец-то!". Постепенно начинаю внимать окружающему. Доктор спрашивает: "Ну, Володя, что заказать Вам сегодня на обед?".

Правило такое в госпитале: после операции обед готовят по заказу. И как ты думаешь, что я заказал? Едва ворочая губами, проговорил:

- Картошку в тулупе...

Палата умирала со смеха. А я моргал глазами, не понимая. Доктор погладил рукой мою голову, сказал, тоже смеясь:

- Будет тебе картошка в мундире...

Правда, смешно?

Володя.

## ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА

Володя, Володенька! Рада, что и среди страданий вы находите возможность и пошутить, и посмеяться. Но зачем, Володенька, омрачать эти светлые минуты тяжелыми раздумьями о своем будущем? Ты же сам писал: «...тот, кто остался жить, пусть возьмет от жизни вдвое больше, чтобы втрое больше отдать человечеству». Эти твои слова вошли в мою жизнь навечно. Знаю, так надо жить. Хотя сама жизнь очень и очень пестра, человеческие отношения извращены, порой впадаешь даже в отчаянье. На днях вызвала одного папашу, объясняю: если ваш сын не исправит поведение, он будет отчислен из школы. И что ты думаешь, Володя? Вместо того чтобы задуматься о воспитании своего сыночка, он стал уговаривать меня быть снисходительной, и, наконец, предложил подарить... туфельки!

Большого унижения я не испытывала. Не помню, что ему накричала, помню только, что выпроводила из кабинета. А ведь это управляющий одного из наших предприятий! Все-таки верю, что хороших людей больше. И ты укрепляешь во мне эту веру. Так зачем же, зачем же ты оставляешь за собой право так мрачно смотреть на свое будущее?!

Оля.

## ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ

Дорогая Оленька! Ты права, если говоришь о жизни вообще, в ее целостности. Добра, в ней много больше. Если бы в жизни торжествовало зло, люди изжили бы самих себя! Но дело вот в чем. В этой огромной всеохватывающей жизни, есть свои, отдельные, единичные жизни, судьбы которых по разным причинам не вписываются в координаты Добра. Мне, видимо, уготована такая судьба. Долго не писал тебе. На это была своя горестная причина. Требовалось время, чтобы затянулась еще одна рана. Нет - нет, не на ногах - в душе. Оленька, ты, наверное, помнишь Ниночку, дочку строгого черноусого военкома нашего городка, которая училась в соседней Первой школе, тоже в выпускном классе? Знала ли ты, что Ниночка была первой моей любовью?! И когда я уезжал на войну, прощался с ней, как с невестой. И получал от нее на фронте нежные письма, даже со стихами:

"Полюбила сокола, самого высокого,  
Всем парням неравного, самого желанного..."

Листочки, исписанные ее рукой, я целовал, и мечтал о том, что будем мы вместе после войны.

И вот, эвакуированный из Брянска институт, в который она поступила в 41 году, возвращался теперь на свое место и - через Москву! И Ниночка выкроила время, вместе с подружкой своей Раей явилась в госпиталь.

Вряд ли, Оленька, ты сможешь представить весь драматизм нашей встречи. Ведь она знала, что я ранен, но не знала, КАК ранен!

Я ехал по длинному госпитальному коридору в своей коляске, ехал из учебных классов (открыли у нас курсы иняза, и я решил поучить английский), ехал, погруженный в свои мысли, привычно передвигая руками колеса. Вдруг слышу голос сестрички: "Володя, а к Вам гости..."

Взглянул, и - мир покачнулся: передо мной в накинутом на плечи белом халате стояла Ниночка!

Я весь был открыт, был во всей униженности своего увечья. В эту минуту должно было остановиться мое сердце! Наконец я отнял от лица руки. Смотреть на Ниночку был не в силах. Смотрел на Раю. Она стояла поодаль, в оцепенении, охватив ладонями шею. Ужас и боль были в ее глазах. Я знал, ужас и боль были и в глазах моей невесты.

Все-таки, Оленька, надо отдать должное Ниночке. Ничем не выразила она своего отчаяния. Подошла, прикоснулась к моей руке, сказала тихо:

"Здравствуй, Володя...". И в готовности принять все как есть, предложила: "Давай, я повезу тебя...".

Пока мы катили в дальний конец коридора, в пустовавший в это время клуб, смятение улеглось. Скрывать было уже нечего. Меня охватило какое-то нервное возбуждение. Мы уселись все рядышком на широком подоконнике окна, я что-то, не умолкая, говорил, что-то вспоминал, что-то рассказывал, Ниночка слушала, поглаживая мою руку, улыбалась своей милой улыбкой, уверяла, как только устроятся они на новом месте, тут же она приедет в Москву, ко мне. "И все - все будет хорошо!".

Это ее слова, Оленька, Я был счастлив счастьем возвратившейся надежды. Лихорадочно искал возможность подтвердить свою признательность Ниночке за ее верность чувствам, которые когда-то связывали нас.

Попросил Нину и Раю подождать, сам впрыгнул в коляску, покатыл к себе в палату. Собрал в сумочку все гостинцы, которые приносили мне родные и знакомые москвичи, все деньги, которые скопились от моих лейтенантских зарплат, упросил Ниночку все это взять, зная, как трудно в дороге и как вообще трудно всем на исходе долгой войны. Если бы только я мог, я бы на руках донес Ниночку до Брянска, где теперь предстояло ей жить.

С прошлой незабытой нежностью мы расстались. Долго бы я пребывал в мечтах, окрыленный надеждами. Но Рая училась и жила в Москве, и стала навещать меня. Садилась у моей койки, смотрела с каким - то молчаливо-затаенным сочувствием. На мои нетерпеливые вопросы о Ниночке отвечала неохотно. Меня это обижало, я даже стал нехорошо думать о самой Рае. Но все, Оленька, в конце концов, вернулось на места свои.

Однажды, после утомительного молчания Рая сказала: "Нина давно замужем. Ее муж - преподаватель института...".

Вот так, дорогая Оленька. Перед моими глазами проносились сверкающие трассы насмерть бьющих пуль, в ногах рвались снаряды. Десятки раз моя жизнь была на волосок от смерти. Но в этот раз бомба разорвалась в самой моей душе. Не знаю, как выжили, срослись кусочки разорванной души, но душа выжила, и разум обрел способность мыслить. Ниночке я написал письмо. С горечью, но поздравил ее с обретенным благополучием. И получил ответ. С явным облегчением она писала: "Да, да, Володя. Так получилось. И, пожалуйста, не осуждай меня. В жизни у каждого свои радости. Если мои радости не совпали с твоими - кого и зачем в том винить! Я счастлива, Володя. Ну, можешь ты порадоваться моему счастью!"

Вот так, Оленька. А ты осуждаешь меня за то, что я мрачно смотрю на свое будущее...

### **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА**

Эх, Володя, Володенька! Голова кругом от твоего последнего письма. Ну, как помочь тебе изжить боль несправедливо оскорбленной души? Как убедить тебя в том, что эта девочка с суетной обывательской душой никогда не согрела бы тебя счастьем семейной жизни?! Это же очевидно! А ты, умный, много видевший, переживший, страдаешь оттого, что жизнь расставила все по своим местам! Да возрадуйся тому, что житейские пули, могущие вонзиться и застрять в твоей жизни, пролетели мимо! Володенька, дорогой мой человек. Жизнь так огромна. И такое великое множество людей судьбами своими сплетают животворную среду, в которой каждый обретает соратников по убеждениям, друга по чувствам, что думать об одиночестве в этом деятельном мире грешно, по крайней мере, тебе, Володенька.

Прости меня, Володенька, вот за это нелепое признание, но если бы мои годы повернулись вспять, если бы вдруг я оказалась на месте этой глупой девочки, я была бы счастлива, быть твоими глазами, руками, ногами, на себя брать все твои огорчения, радоваться мыслям, трудам твоим, которые не сомневаюсь, тебя ждут.

Прости, Володенька, не сдержалась. Но только больно стало за твое неверие в себя!

Знаешь, Володенька, недавно я услышала одну "сердечную" историю. Историю двух личностей, то, что случилось, совершенно меня не касалось. Но даже услышать про чужую безнравственность было тяжело. Эти самовлюбленные личности разбили две семьи, втоптали в грязь само человеческое достоинство! Долго не могла успокоиться... И решила перечитать Тургенева. Читала с восторгом, со слезами отчаяния и радости. И успокоилась тем, что были и есть в жизни прекрасные сердца Инсарова, Елены, Лизы, Лаврецкого. И твое, Володенька, прекрасное и такое ранимое сердце!..

### **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА**

Дорогой Володенька! Почему так долго молчишь? Я вся истерзалась. Думаю, уж не обидела ли тебя своими откровениями?..

Знаешь, когда я вхожу в бывший ваш класс, смотрю на последнюю парту у окна, где сидел ты, всегда такой серьезный, сосредоточенный, ловлю себя на странном желании: вновь, воочию, увидеть тебя за той партой! Сколько недоговорено, столько в судьбах своих учеников мы не сумели предвидеть!.. Интересно, говорила ли тебе: когда в середине учебного года ты впервые пришел к нам в 9-й класс, многие признали тебя за инспектора. Таким взрослым ты выглядел! Никто не говорил тебе об этом?.. А как удивило класс, когда ты вызвался рассказать о теории разумного эгоизма, по роману Н.Г.Чернышевского "Что делать?"...

Помнишь ли? Ты говорил, что разумный человек может и должен спокойно, осмысленно разрешать даже такие сложные, казалось бы, не поддающиеся разуму, проявления жизни, как взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ты был сдержан, логичен, когда анализировал поступки Лопухова и Кирсанова. Но как запылало твое лицо, когда заговорил ты о Рахметове! В Лопуховско-Кирсановском эгоистично-разумном "я" ты увидел лишь первый шаг к человечности. Рахметовское же полное самоотречение от "я", замена личного "я" смыслом революционной борьбы за справедливость для всех ты обозначил, как высшее проявление человечности. И говорил с такой убежденностью, что нельзя было не восхититься тобой. Я видела это по напряженным лицам всего класса, слушавшего тебя, и сама восхищалась и гордилась тобой!



Володенька, посмотри же и на горести, случившиеся в твоей жизни, с познанных тобой высот человечности!..

## **ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ**

Оленька, а у меня опять беда. На этот раз, пожалуй, самая серьезная: хотят отрезать единственную оставшуюся коленку! Если это случится, надвинется полная беспросветность. Это пожизненные костыли, невозможность подняться по лестнице даже на несколько ступенек!

Не думал, что и среди врачей бывают особи с ледяными сердцами. А вот явилась некая дама - консультант (хорошо еще не нашего госпиталя!), которая спокойно изрекла убийственный для меня приговор, да, знаю, вижу, ампутационная рана затягивается медленно, но все-таки затягивается!..

И неужели трудно понять, что в коленке - все мое будущее! Поглядел я в холодные глаза дамы, наверное, выразительно поглядел.

Дама усмехнулась: "Ходить все равно не сможете..."

- "Посмотрим!" - сказал я и уехал в палату.

Оленька, зато в другой, духовной моей жизни, что-то засветилось. В долгих стараниях родился первый мой рассказ, рассказ о долге и чести молодого офицера. Что получилось, не ведаю. Показывать - страшусь. Ведь в этом, вдруг призвавшем меня влечении тоже, может быть, проглянуло мое будущее?!..

## **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА**

Володенька, дорогой! Знаю, знаю по себе, что нет в жизни ничего страшнее людей с ледяными сердцами! А если такое сердце у врача... Хотелось бы встретиться с этой бесчувственной дамой! Уж я бы добралась до ее совести, если, конечно, хоть капля осталась там, на дне ее бездушия! Отстаивай, Володенька, даже самую малую возможность своего будущего, каждый сантиметр своего живого тела, каждое стремление беспокойной своей души! Знаю, верю, в тебе заложена жизненная сила, такая великая, что сломать ее не смогут никакие ледяные сердца!

Поверь в это, как верю я. Не знаю, вправе ли я, именно теперь, напомнить один из дней, опять-таки того трагического 41 года. Еще мирного, светлого, июньского, когда на объявленных областных соревнованиях по легкой атлетике ты бежал на километровую дистанцию, защищая спортивную честь школы. Я знала, ты упорно готовил себя к этому событию. Но когда увидела тебя на стадионе, легко, стремительно, прямо-таки с оленьим напором несущегося по гаревой дорожке намного впереди всех других и заслуженно победившего, подумала, еще и еще раз гордясь тобой: нет в мире дороги, которой бы не осилил! Ты и тогда умел добиваться любой поставленной перед собой цели. Прости, Володя, если это воспоминание в какой-то мере окажется огорчительным. Но сила преодоления, заложенная в тебе, ни при каких обстоятельствах не должна оставить тебя!..

### **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА**

Володенька, знаешь, о чем я все время думаю? О человеческих радостях. Именно человеческих. Ведь немало людей, которые удовлетворяются растительным, лучше сказать, животным существованием. Интересы их замкнуты в одном кругу, не выходят за пределы ежедневных насущных забот: где-то что-то достать, с нужным человеком познакомиться, поскорее уйти от общих обязанностей в свой тепленький уголок. Жалкие людишки! Жалко их за бедность душ, в которых не находят места ни радости познания, ни раздумья о смысле жизни, ни музыка, ничего из того, что веками творили гении человечества. Есть же духовные вершины, к которым постоянно должен стремиться человек! Не могу представить жизнь без художественной литературы, особенно без нашей русской классической литературы. А музыка для меня как воздух, которым невозможно надышаться. Люблю все: от наших русских напевных грустно-светлых народных песен до великих созданий Глинки, Чайковского, Рахманинова. Когда по радио вдруг услышу пятую симфонию Чайковского, бросаю все, сажусь, закрываю глаза, сжимаю лицо ладонями, будто меня нет! Во мне только музыка, и сама я, как будто вся из музыки! В этой симфонии всемогущий рок вдруг оборачивается торжествующим жизнеутверждением!

Как же можно, Володенька, жить и не ведать истинно человеческих радостей!?

## ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ

Оленька, после твоих вдохновенных слов об истинно человеческих радостях я снова почувствовал себя учеником. Симфонии, потрясенность от великих музыкальных творений, по всей видимости, у меня еще впереди. Свои печали пока утоляю полюбившимися, фронтовыми песнями, да оперными ариями, тем, что есть в записях на пластинках. Родные по отцовской линии, живущие в Москве, пожертвовали свой патефон - радость для всей нашей палаты несомненная. Слушаем по утрам и вечерам. Чаше всего завожу Лемешева, с тоскующей арией: "Куда, куда вы удалились, золотые дни".

Вот книги, те постоянно в руках. Заново вчитываюсь в Пушкина, Толстого, Тургенева, "Братьев Карамазовых", открывая душевные тонкости, которых не ведал прежде. Свойство русской классики - не раскрываться сразу, до доньшка. Всегда что-то еще остается там, в глубине. Ну, а в буднях борюсь за свое будущее. Упрямо, каждый день, как когда-то на тренировках по бегу, принимаю парафиновые процедуры, и - боюсь верить! - но рана затягивается!..

## ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА

Дорогой Володенька! Только что вернулась с ученического вечера, посвященного Грибоедову. На часах полночь. Яркий свет заливает комнату. Тишина. В доме все спят. А мне не спится. Сердце переполнено почти детской радостью и хочется поделиться этой радостью с тобой, именно с тобой, милый друг. Ученические вечера всегда волнуют своей непосредственностью, в то же время и какой-то взрослой серьезностью. Ученики сначала рассказывали о самом авторе. Потом вышли как актеры, дополнили – прекрасно исполнили! - сценами из "Горе от ума".

Вечер, как всегда, завершился танцами. Как молодость любит танцевать! Едва заиграет баян, все выходят в круг. В невыносимой тесноте танцуют. И всем весело! Я не танцую. Только смотрю на ребячье веселье, но удовольствие испытываю не меньшее, чем они. Сидишь, наблюдаешь, думаешь. Ведь вполне возможно среди этих, пока безвестных ребят, радующихся сейчас малой радостью, будущие Грибоедовы, Чеховы...

Ведь далеко не сразу, совсем не сразу, обнажаются золотые россыпи юных душ! Я, Володенька, не могу не думать о тебе. Живет, утвердилась во мне неколебимая вера, что быть тебе гордостью не только школы. Да, ты уже гордость всех тех, кто понимает, что такое мужество!..

## **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА**

Дорогой Володенька! Только что вернулась домой, смотрела картину "В 6 часов вечера после войны".

Ох, Володя, оказывается, как мало я еще знаю. Что-то насочиняла о наших отношениях. И не дописала всего. Ты, наверное, истерзал себя думой, что все девушки такие же, как твоя глупенькая Нина. И в моем отношении к тебе ты разглядел далеко-далеко не все. Увидел во мне утешителя и только.

Володя, дорогой, Володя, так нет же! Нет! Это совсем не так! Если я так сдержанна, то имею в виду только разницу лет и больше ничего!..

Для меня дорога наша дружба. Духовная близость, которая обозначилась в нашей переписке, обернулась для меня не только радостью, но и надеждой. Да, и надеждой, Володенька. Надеждой, что не уйдет из моей жизни умный, честный, мужественный человек, что ободряющим теплом твоей души я буду согреваться, всегда, пусть даже издалека! Даже этого было бы мне достаточно.

А ты, Володенька, встретишь такую же молодую, как ты, заботливую, любящую тебя девушку. И будет у вас все хорошо. Все будет хорошо. Володенька, милый мой человек!

Вот так подействовала на меня эта картина! Как будто раздвинулись стены и дали, и я увидела мир, в котором ты сейчас живешь, Володенька!

С праздником тебя, мужественный защитник нашей великой страны!..

22 февраля 1945 г.

## **ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ**

Оленька! Фильм, который тебя взволновал, мы смотрели всем госпиталем. Палаты опустели. В большой клубный зал втиснулось столько людей, что некуда было ставить костыли. Коляски стояли впритирку друг к другу...

Лежачих приносили на носилках, укладывали прямо на пол перед первыми рядами. Ведь там, на экране, была судьба каждого из нас, герой-артиллерист выходил из госпиталя на костылях! И каждый хотел увидеть, предугадать, что будет с ним " В 6 часов вечера после войны "!

И все же, больше чем фильм, согрело твое письмо, Оленька. Из прочувственного твоего смятения, теплота перелилась в мою душу. Спасибо за веру в меня. Пока есть надежда, пусть призрачная, но все же надежда, не так страшит даже самое страшное, что может еще быть!

## ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА

Дорогой Володя, Володенька! Вот и пришел победный долгожданный май! Какая радость, какое веселье захлестнули наш маленький городок! И стар и мал, высыпали из домов на улицы. Песни, ликующие крики. Играют гармошки. Кто-то пляшет прямо посреди улицы. На лицах радость и слезы. И над людьми, над, всей землей, чистое синее небо и слепящий свет весеннего солнца.

Вечером учителя все вместе собрались в школе. Порадовались, повспоминали. Помечтали о будущем. Домой пришла. Перечитала письма двух погибших моих братьев. Достала альбом с фотографиями, с грустью пересмотрела их жизнь и свою, такую еще короткую жизнь!

Потом, Володенька, перечитала все твои письма, с первого до последнего! И грусть моя посветлела. Мыслями перенеслась в Москву, представила тебя, лежащего на госпитальной койке, почему-то с закинутыми под голову руками. Ты лежишь, взгляд устремлен в бесконечность, о чем-то сосредоточенно думаешь. О чем думаешь, дорогой Володенька?!

Если бы не тысяча верст, нас разделяющих, каких хороших слов наговорила бы тебе! Бумага не передает живого трепета души. Когда смотришь в глаза, слово обретает особый смысл...

Володенька, ты не нуждаешься в деньгах? Я бы поделилась. Напиши. Так жду твоего письма!

Твоя Ольга.

## ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ

Оленька! Боюсь верить, но, кажется, и в мою госпитальную жизнь проник лучик солнца. Появился у нас молодой, энергичный, внимательный хирург. Осмотрел мою страдальческую ногу, поймал мой тревожный взгляд, сказал, положив руку мне на плечо: «Что ж, будем оперировать! Коленка останется при тебе!».

Я поверил ему, Оленька! Сейчас усиленно готовят к операции: ежедневный массаж, анализы и прочее, прочее. Уже пятая операция! А сердце все равно сжимает холодок. Когда кладут на операционный стол, накладывают на лицо маску, и сладкоудушающий эфир начинает туманить сознание, я мысленно прощаюсь с жизнью, - ведь на несколько часов отправляют меня в небытие! Наверное, это - слабость. И все-таки не могу избавиться от грустно-покорной мыслишки, что отправляюсь в небытие навсегда... Все это особенности госпитальной жизни. На фронте - другое. Там, если уж смерть, то мгновенная. Ее не успеешь осознать. Здесь же мучительно само ожидание. Прости, Оленька, я, кажется, слишком разговорился, и совсем не о том. Все будет хорошо, Оленька. Все будет хорошо! И мы с тобой еще о многом поговорим!..

Поругай меня, хотя бы мысленно. Говорят, это помогает...

## ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА

Володя, дорогой Володенька! Ну, как я могу тебя поругать?! Даже представить не могу: я — и вдруг произношу недоброе слово о тебе. Не верю ни в Бога, ни в черта, но молюсь про себя за благополучный исход твоей, надеюсь, последней операции!.. Ты должен жить, Володенька. Жизнь только - только распахивается перед тобой. Она ждет тебя. И будешь творить доброе, вечное и будут у тебя простые радости бытия, и любовь окрыляющая, и уважение людей. Ты умеешь облагораживать все, к чему ты прикоснешься. Это говорю тебе я, бывший твой учитель, а теперь твой друг, верный твой человек, Володенька!

Сердце подсказывает, что операция уже прошла, и ты уже в полном сознании. Я даже слышу, как после операции, на вопрос врача, что приготовить тебе на обед, ты снова просишь «картошку в тулупе». Володенька, когда мы встретимся, хочу, я верю, что мы обязательно встретимся, я приготовлю тебе шикарную картошку в мундире. Самую лучшую, самую рассыпчатую!..

## **ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ**

Оленька, все позади. Сегодня день второго моего рождения - привезли протезы, другие мои ножки. На них мне предстоит ходить - передвигаться всю оставшуюся жизнь!.. Не могу, Оленька, передать состояние от ворвавшейся в меня эмоциональной бури, когда пристегнули мне мои новые ноги, и я встал. Встал! И, подпираясь костылями, пошел по коридору. Пошел, Оленька! За два года распластанности впервые снова взглянул на мир с высоты человеческого роста. И потрясенность оттого, что вернулся, снова вернулся в человеческое состояние, была столь велика, что я не смог удержать слез. Стоял у распахнутого окна, смотрел на вершины кленов, шелестевших зелеными широкими листьями, и слезы от преодоленной беды, от возвращения в мир человечности, текли по лицу. И я не стыдился, Оленька! Это были хорошие слезы... О доме думаю уже, Оленька. Меня там ждут. И отец и мама...

## **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА**

Володя, Володенька! Не меньше, чем ты, радуюсь твоей радости! Первые шаги по госпитальному коридору - это твои шаги в деятельную жизнь. Так пусть же она будет щедра для тебя всеми радостями, которые знал ты в своей юности!.. А я, Володенька, вся в школьных заботах. И все в них попеременно, огорчений, пожалуй, больше. Но давай говорить о радостях. Пусть маленьких, но все же радостях. Ведь человек создан для радостей, правда? Хочу поведать тебе одну историю, вернее, судьбу ученика Лени. Когда он учился в 3, 4, 5-м классах, он был известен, всей школе, как хитроумный воришка. Под его водительством вскрывались шкафы, все ценное уносилось, продавалось или обменивалось на рынке.

Ни одна драка не обходилась без его участия. Учительский коллектив возмущенно ставил вопрос об исключении его из школы. Я не решалась. Что-то меня останавливало. Ведь исключить - значит, навсегда отослать его на рынок. Но, главное, за вызывающей дерзостью мальчишки проглядывало какое-то, не всем видимое, детское отчаянье. Я знала, что родители его старые и очень больные. И вот, когда он учился в 6-м классе, умер у него отец, вскоре и мать. Леня остался один с сестренкой помладше его. Вот трагедия маленькой жизни!

Школа, разумеется, взяла на себя посильную заботу о сиротах. Но главное - произошло нечто в Лене. Как будто пробудился другой, до сих пор дремлющий в нем человеческий человек. Пробудился и вытеснил того, прежнего, безответственного сорванца. Со страхом следила за переменами в нем, боясь поверить. Но чудо возвышения произошло! Он стал учиться на одни пятерки! Сейчас Ленечка - гордость школы. Готовится к выпуску. И хочет учиться дальше. Вот, Володенька, в такой судьбе - высшая награда учителю за его беспокойный, не всеми видимый труд. Все думаю: лучших из лучших война навсегда увела от созидательных дел. И тебе, Володенька, предстоит на себя взять недонесенную ими ношу. Кому, как не тебе врачевать, возвышать души тех, кто слышит, мыслит, кто стремится к человеческой жизни!..

## **ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ**

Оленька! После твоего письма задумался, почему твои радости, радости Учителя, волнуют меня, может быть, даже больше, чем свои?

Что это - родство душ? Или так мы прониклись жизнью друг друга, что уже не мыслим себя по отдельности? Вот сумела ты разглядеть в, казалось бы, беспутном сорванце будущего человека. Радует его судьбе. И я радуюсь за него, но еще больше - за тебя! Ты, Оленька, скромничаешь. Не только случившееся сиротство, вдруг проснувшаяся ответственность за свою сестренку изменили твоего трудного ученика. Он же не мог не почувствовать в тебе защитника! Знаю, по своей жизни знаю, как слово, одно лишь верное, убежденно и в нужный момент сказанное слово, может изменить человека и его судьбу! Такое слово нашла, сказала ты, Оленька, ты Учитель от Бога. И не один Ленечка в сыновьях у тебя.



Сколько девчонок, мальчишек по-матерински воспитаны тобой! Склоняю голову перед тобой, Оленька!..

О себе страшусь говорить. Кажется, что-то определяется и в моей судьбе. Как не удивительно, но судьбу мою тоже определило слово! Мои литературные, госпитальные опыты обернулись неожиданным финалом. Рассказы прошли творческий конкурс, я зачислен, Оленька, в Литературный институт! Не заоблачные ли силы определили именно литературную мою судьбу? Выбирал-то для себя другую дорогу! И радостно, и даже как-то жутко, словно перед прыжком с высокого трамплина. Чью судьбу предстоит мне повторить - судьбу Павки Корчагина или судьбу Мартина Идена? Ведь литература - это сотворение человека?! Дано ли мне исполнить столь высокое предназначение?!

### **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА**

Володенька, дорогой! Я напросилась на учительскую конференцию в Москву! Боюсь верить в такую возможность. Но если удастся, не будет человека счастливее меня - ведь мы встретимся!..

### **ПИСЬМО ИЗ ЛЕСОВ ПОДМОСКОВЬЯ**

Дорогая Оленька! Наконец-то я дома, если можно назвать домом половину деревянной избы, где есть у меня свой закуток с постелью и маленьким столом. На столе учебники, бумага. Здесь, в тиши закутка, роятся мысли, мечты прокладывают, пока зыбкую заоблачную дорогу к моему далеко еще не ясному будущему.

Пристанище наше временное. Отца перевели ближе к Москве, в большое подмосковное лесничество. Там, в поселке, ставят дом, куда мы потом переедем. А пока... Пока возвращаю себе то, что, казалось, утеряно, навсегда. Прежде всего, дороги, окрестные луга, поля, перелески. Костыли отбросил. Стараюсь ходить бодро, опираясь только на палочку. Километр для меня уже не предел, и радость преодоления пространства живет душу!

Прежде не мыслил земного своего бытия без охоты. Наши вятские лесные дебри еще до войны избродил с ружьем вдоль и поперек, внимая птичьей и зверушечьей жизни. И вот теперь... Теперь почувствовал возможность вернуть даже эту юношескую страсть. В лесничестве оказался конь. А на фронте приходилось лихо скакать и на конях! Сохраненная коленка дала возможность вкладывать протез в стремя, держась за луку, вскидывать себя в седло. И вот уже четыре конских ноги на десятки километров раздвинула для меня лесные просторы! Научился даже прямо с коня стрелять по взлетевшей птице. Мечтаю зимой встать на лыжи. А уж стол с книгами, бумагой, пером и мыслями - духовная моя жизнь - даже в ночи не отпускают меня.

Вот, Оленька, начало новой моей жизни. А мне уже 22 года! И будущее чистым листом передо мной. И должен я заполнить этот чистый лист мыслями и делами. А одиночество все-таки томит, ждешь и ждешь чего-то...

Знаешь, Оленька, наткнулся я на одну из записей Петра Ильича Чайковского. Он пишет: «Мне уже 44 года, и ничего серьезного я еще не сделал!..»

Сказано это, когда были уже и "Лебединое озеро", "Евгений Онегин". Какая беспощадная самооценка! И какая неудовлетворенность содеянным сравнительно с ощущаемой в себе творческой мощью! И он сумел в оставшиеся 10 лет жизни воплотить свою творческую мощь в такие бессмертные шедевры, как Пятая и Шестая симфонии, "Пиковая дама", в так любимый тобой "Щелкунчик"!

Дело, видимо, не в протяженности лет! Важна концентрация творческой энергии в малом пространстве времени! Значит, возможно, что-то сделать, даже если отпущено тебе на жизнь не так уж много деятельных годочков!..

## **ПИСЬМО ИЗ ГОРОДКА, ПОСЛЕДНЕЕ**

Володя, Володенька! Наконец-то я добралась, увидела тебя в яви, красивым, сильным, каким ты всегда жил в моем воображении!

Тысячу разделяющих нас километров преодолевала в сомнениях, в каком-то даже отчаянье и в нетерпении увидеть тебя. И вот увидела... И все тайные глупые мои надежды рухнули при первом же взгляде на тебя!

На твоём милом лице увидела я смущение, растерянность, увидела как, почувствовав мой радостный порыв, ты сжался в робости. А мне так хотелось прижаться к тебе, у тебя на груди спрятать своё лицо, уловить теплоту твоих губ!

В то мгновение, когда, преодолевая смущение от неожиданного моего появления, ты протянул руку и сказал:

- "Здравствуй, Оля!" - я поняла, какая неодоленная стена по-прежнему разделяет нас. Потом, уже на обратном пути, с горькой усмешкой я думала об этом первом мгновении. Ты снова увидел во мне учительницу, и смущение твоё было смущением ученика. О, как прочно внедряются в нас всякие житейские условности!

Как легко, упоительно любить человека издалека, в своём мечтательном воображении! И как мгновенно всё осложняется, когда любимый человек перед тобой, глаза в глаза. Вот он, протяни руку и ощутишь живую его плоть. Ан - нет! Ну почему так, Володенька?

Духовная близость, и близость человеческая, земная, нареченная почему-то грешной, - разве не две стороны одного человеческого бытия?

Разве не взаимопроникающи они? Разве человек не может возвышаться в их единстве?

Потом, когда смятение твоё улеглось, ты позвал пройти по лесной дороге. Где-то на бугорке, под большими берёзами, мы сели друг против друга. И ты спросил, почему я до сих пор без семьи. Ты представить не мог, какой болью отозвалась во мне твоё слово! Я смотрела на тебя в охватившей меня немоте, глаза мои, наполненные слезами, кричали: "Да пойми же ты, Володенька!"... Но ты был сдержан, как прилежный ученик. Ни единой теплинки из тех чувств, что прорывалась в твоих письмах, я не могла уловить! Неодоленная стена: учитель - ученик, стояла между нами.

Помнишь, что ответила я? С каким - то вызовом сказала: "Хорошего человека не нашла!"...

Я вглядывалась в твои глаза, пыталась взглядом уже почувствованного отчаяния растопить давно уже изжившую себя школьную условность. Увы, Володенька, ты не смог, или не захотел понять меня.

А ведь из дальней дали я рвалась к тебе в ослепительной мечте. Я понимала разницу наших лет. И ни в чём не хотела, Володенька, связывать тебя. Хотела лишь одного. Я хотела ребеночка, от тебя хотела сына, дочку - всё равно! - но только от тебя, Володенька!

Я бы все сама: и вырастила, и воспитала. Сын или дочь выросли бы достойными твоего имени, в какой бы высокий ряд других имен твое имя не вписалось. Я бы все сама, сама, Володенька. Ничем не обязывая тебя, ни в чем не утруждая, дала бы миру хорошего, на тебя похожего человека!

Такой вот мечтой думала согреть свою жизнь. Увы, мечты осуществляются только в воображении!

Прощай, мой друг, любимый мой Володенька. Я все же рада, я все же благодарна судьбе за то, что в моей жизни был ты!..

Ольга.





Первую девчоночку, которая мысленно соединилась у меня со словом «невеста», выглядел я на скромных послевоенных посиделках, где собирались три парня да пять уже подросших девчат, вместе избывая тоску затянувшегося семейного неурейства.

В это отдаленное от городов село вернулся я к жившим тогда здесь родителям, вернулся после ранения и долгого лечения в госпитале. Вернулся хромым, ходил с палочкой, но был бодр, крепок телом и проявлял живой интерес не только к реке, лесу и книгам.

Село с двумя рядами домов, широкой улицей между ними, стояло на высоком взгорье. Внизу, ближе к реке, лепилась к склону краснокирпичная фабричка, всю войну ткавшая марлю для госпиталей. Многие девчонки из села и окрестных деревень работали на фабричке, и возможность выглядеть себе невесту представлялась.

Даша, так звали худенькую, притаенно-молчаливую девушку, как-то затеривалась на посиделках среди других шумных, голосистых девчат.

Но взгляд её пугливых, запечаленных глаз я часто ловил на себе.

Признаюсь, чувствовать молчаливое её внимание было много приятнее, чем откровенные заигрывания более смелых ее подружек.

Послушав гитару, поволновав души военными песнями, мы начинали играть во флирт.

Откуда попала старомодная игра провинциальных барышень в этот сельский дом, я не ведал. Возможно, от какой-то бабушки или прабабушки достались в наследство правнучке эти, сплошь затертые пальцами продолговатые картонные карточки, на одной стороне которых были оттеснены название цветов, на другом - сентиментальные излияния чувств, от осторожных намёков до язвительных отповедей.

Но игра удобна была тем, что в общей компании, сидящей вокруг стола, позволяла вести интимный разговор, говорить чужими словами то, на что по природной стеснительности не всегда решишься. Игра азартитела, выявляла затаенные симпатии, подогревала не столь уж серьезные, но все же завязывающиеся личные отношения внутри нашей компании.

Как-то в один из вечеров, мы шутливо переговаривались через карточки. Помню, Даша склонилась низко к столу, сказала мне тихо: "Фиалка".

Я, улыбаясь, отыскал в куче картонок ту, на которой обозначен был названный ею цветок. На обратной стороне прочитал: "Когда б Вы знали, как ужасно томиться жаждою любви..."

Думая, как бы поигривее ответить, я отыскал среди карточек ответ: "Нельзя ли для прогулок, подальше выбрать закоулок?" - хотел уже произнести: "Ландыш!" - и замер от взгляда Даши. Мою игривость, как рукой сняло: глаза Даши смотрели на меня из полутьмы комнаты, казались огромными, и мольба была в её глазах: "Ну, пойми же меня! Ну, откликнись!..".

В замешательстве я отвел руку от карточек, как-то вдруг отстранился от игровой суеты. Я осознал: игра кончилась, мы перешагиваем в жизнь.

Даша всегда уходила раньше других. Жила она в соседней деревне. Предстояло ей, после фабричной смены, бежать еще три километра до своего дома через заснеженный лес, по плохо наезженной дороге. И когда, как-то враз озаботившись, она вскочила, стала натягивать на себя пальтушку, обвязываться платком, я впервые остро пожалел, что не могу проводить её - по зимним бугристым снегам я был не ходок.

Все-таки я встал, помог Даше затянуть на спине концы большого серого платка, шепнул:

- Хочешь в воскресенье заеду, на лошадке, покатаемся?

Даша одарила меня радостным взглядом, еле слышно ответила:

- Приезжайте...

Отец разрешил запрячь Орлика, что обитал на лесхозовской конюшне. Белый красавец с гордой статью вынес меня на проселочную дорогу.

Орлика в конце войны списали из воинской части - какой-то недотепа запалил его в долгой горячке бега. Передали его в лесхоз, лесхоз был под началом отца, и Орлик безотказно служил во всех деловых поездках, сохранил и азарт, и напористую красивую иноходь.

Движение крестьянских саней-розвальней, несущихся по зимней дороге с вброшенной в них охапкой сена, хранящего и в зимней стуже аромат летних лугов, волнует романтикой ожиданий.

Глухо, ровно стучат подковы по притоптанной дороге, отступают назад засугробленные кусты, припорошенные стволы еловых дебрей. А мысли бегут вперед, в залесскую деревушку, где томится, ждет меня Даша.

По моим, еще далеким от житейской опытности представлениям, приезд мой к Даше был не более, как обычная воскресная прогулка. Но когда я остановил коня перед крыльцом, когда увидел стоящих у соседских домов женщин, разглядывающих меня с жадным любопытством, и сопровождаемый их взглядами, их оценивающим говорком, вошел в дом с бодрым шутливым приветствием, я понял, что появление мое в доме, где на выданье девица, воспринимается в деревне далеко не шуточно.

Первое, что я увидел, бледное, без единой кровиночки, лицо Даши, стоявшей у входа в горницу и сияющей улыбнуться мне. У пустого дощатого стола, словно прилипла к лавке младшая сестренка Даши, округлив глаза, она дико озирала меня. У печи, сумеречной тенью стояла одетая в черное женщина, с нахмуренным лицом, поджатыми губами. Как догадался я, была это мать Даши. Мое появление явно было ей не по нутру. В углу, над столом, горела пред иконкой лампада. Сумеречная женщина, недобрым взглядом прощупав меня всего, от головы до палки, на которую тяжело я опирался, перекинула глаза на иконку, трижды, и с истовостью церковной прихожанки, перекрестила себя, что-то невнятно шепча.

Растерянно я смотрел на Дашу. Навеянные зимней дорогой мечты померкли перед прозой жизни. Я уже хотел извиниться, попрощаться, отбыть обратно, к дому. Но Даша, до сих пор стоявшая, как неживая, сорвалась с места, сдернула с гвоздя свое пальтишко, набросила на голову платок, рванулась к двери. Перешагивая вслед за ней порог, я услышал донесшийся угрожающий окрик:

- Смотри у меня там!..

Даша, как села в сани, так и застыла, сидела, вытянув вперед ноги, в стареньких, помятых, не в первый раз подшитых валенках, всунув между колен ладошки. Даже глаза закрыла, будто везли ее на казнь!

Ни сказочная пестрота притихшего под снегами леса, ни быстрый напористый бег коня, ни взвихренный копытами снег, летящий в лицо, так и не оживили милую мою избранницу. Мне казалось, она приготовилась покориться любому моему желанию. Но странности домашнего моего воспитания, не порушенные и обнаженным бытом фронтовых будней, как будто наложили на меня запрет, даже на самое малое насилие по отношению к женщине.

Я выдержал, мысль о благородстве оказалась выше моих желаний. Я слышал, уши мои будто скреб брошенный вслед нам злой окрик: «Смотри у меня там!»... - и мне хотелось доказать сумрачной Дашиной матери, что помыслы мои чисты, что гложущие ее черные мысли не относятся, не могут относиться ко мне.

Мы прокатились до соседней деревни, повернули обратно. Даша все так же сидела неподвижно, не промолвила ни слова. Когда показались дома ее деревни, она вышла из оцепенения, посмотрела на меня долгим благодарным взглядом, сняла варежку, робко прикоснулась холодными пальцами к моему запястью, сказала едва слышно:

- Спасибо Вам. Я... Я... - она не договорила, слеза выкатилась из-под ресницы, упала, застыла на рукаве пальтушки. Слезинка растрогала меня и примирила меня с Дашей.

Я сказал:

- В следующее воскресенье еще заеду. Хочешь?.. Радостно она кивала. В тревожном порыве взбежала на крыльцо.

Следующая наша поездка закончилась неожиданно. В свете полной луны я увидел близкие, зовущие глаза Даши, отвел платок, закрывший её щеки и нос, мои губы прикоснулись к стеснительно сжатым ее губам. Она склонилась к моему плечу. Я почувствовал полную ее беззащитность, приобнял, сказал, вдруг все, решив за себя и за нее:

- Дашенька, едем ко мне. Останешься со мной!

Орлик нес сани по олуненным полям. Даша жалась ко мне, как будто боялась, что я могу исчезнуть среди снегов.

Я не думал, как могут встретить нас дома: ни отцу, ни матери я, ни словом не обмолвился, что выглядел себе невесту. Но желание быть с Дашенькой, оставить её в нашем доме навсегда было столь велико, что я готов был проломиться сквозь возможные домашние препятствия.

Даша, почувствовав мою решительность, тревожась своими мыслями, еще крепче прижалась ко мне, наперед успокаивая меня, сказала:



- Ты не думай! Это сейчас я такая худая. У нас корова в запуске. Начну пить молоко, быстро поправлюсь. Такая буду!..

Смешная детская ее озабоченность, была так трогательна, что я не выдержал, еще раз отвел платок с ее губ. На этот раз она сама, как-то очень уж неумело поцеловала меня.

Домашние изумились нашему появлению. Я не стал задерживаться, представил онемевшую от страха Дашу, как свою невесту, провел в свою комнату, плотно притворил дверь.

Мы остались одни.

Нет-нет, ночь не стала для нас упоительной брачной ночью. Наверное, слишком разными были мы в понимании жизни. Мои мысли, мои чувства, как всегда, забежали вперед. Надуманное, я принял, как уже свершившееся. В моем понимании Дашенька уже была моей женой, я ждал от нее полной доверчивости. О житейских делах я не думал, не пришел еще срок думать о чем-то, что было за пределами этой ночи. А Дашенька вся была в сомнениях.

Мы сидели на старом, казенном, продавленном еще в былые времена, дерматиновом диване, на котором я спал с первого дня возвращения домой, сидели рядышком, вроде бы в согласии, вроде бы приготовленные к ночи. Но уложить Дашеньку я никак не мог. С ласковой настойчивостью приклонял её к подушке, с такой же настойчивостью она поднималась к моему плечу, спрашивала каким-то дрожащим голосом:

- Детей Вы любите? Вы любите детей, Володя?.. Что мог ответить я? Дети, дети... Какие дети? Разве в свои двадцать два года, да еще только-только выйдя из войны, мог я думать о детях?.. Я жил в тоске по женской ласке, думал о жене, думал, как согреет она меня после долгих лет походного одиночества. Даша должна была поверить, что она - уже моя жена, что я не обману её, что я просто не способен обмануть!

Так думал я, так чувствовал, так был настроен. А в ответ на совершенно ясные мои желания я слышал:

- Детей Вы любите? Вы любите детей, Володя?..

Муки Тантала терзали меня: как он, наказанный Богами, я стоял по горло в воде и не мог напиться, свисающие ветви со спелыми плодами отстранялись, когда я протягивал к ним руки.

Я ждал, что Дашенька вот-вот распахнется навстречу моим желаниям. А она жалась ко мне, робко, неумело, но настойчиво удерживала меня. Я не понимал, что изменилось бы, если бы она услышала желанный ответ:

- Да-да, Дашенька. Я очень люблю детей!.. Ну, произнес бы я эти ничего не значащие в тот момент слова, и что? Что?.. Она закинула бы голову на подушку? Охватила бы худенькими руками мою шею? Сомкнула бы ресницы, влажные от страха, за принимаемый на себя грех? И ночь стала бы нашей брачной ночью? Дашенька стала бы повенчанной моей женой? Могло бы быть и так. Но я не мог произнести слов, которых не было во мне! Я молчал, снова и снова старался ласковым движением руки уложить ее на подушку. Но Дашенька опять поднималась, опять прикивала к моему плечу, опять я слышал её вопрошающий голос:

- Ну, скажите, Вы любите детей, Володя?..

Рассвет обозначил окна в комнате, а мы все сидели на жестком диване, накрывшись одним одеялом. Даша чувствовала мое разочарование, просительно гладила мою руку. Ни словом, ни движением я не отвечал на немую ее мольбу.

Тяжко-тяжко она вздохнула, прошептала:

- Мне ведь на смену пора!..

Шурша одеждой, она одевалась, я видел торопливые движения её рук, видел, как, случайно сдвинув стул, она испуганно замерла прислушиваясь.

Я вспомнил, как сумрачная Дашина мать крестным знаменiem отгородила от меня Дашу, вспомнил житейскую мудрость, где-то, когда-то слышанную: хочешь узнать будущее жены, смотри на тещу, и чувствовал, как уже вползает между мной и Дашей холодок отчуждения.

Даша убрала волосы под платок, накинула пальтушку, подошла, проговорила жалобно:

- Ну, не сердитесь, ну, пожалуйста! Мать убьет меня. Она убьет меня, если я в подоле принесу!..

Дашу я проводил через комнату отца на крыльцо. Прощально она взмахнула варежкой, побежала к фабрике по прихваченной морозом тропке.

Отец был, сердит, не спал. Счел нужным выговорить за безнравственное мое поведение. Хмуро, на ходу, я ответил:

- Успокойся. Между нами ничего не было...

К Даше я больше не заезжал. Недели две спустя зашел ко мне приятель по прежним посиделкам. Поговорил о том, о сем. Вдруг, будто вспомнив, сказал:

- Да! Даша велела тебе передать: корова у них отелилась. Она уже пьет молоко!

Я смотрел на него, как будто не понимая:

- Какая корова? Какое молоко?..





Роза ворвалась в мою жизнь со сцены.

Жажда полезной деятельности собрала в сельском клубе немногих оставшихся после войны молодых. И замахнулись мы поставить увлекшую наше воображение пьесу "Чужой ребенок", обнаруженную в местной библиотеке, да еще с режиссерскими разработками.

Я взял на себя обязанности режиссера, Розе досталась роль главной героини, испытывающей на нравственную прочность соперничающих друг с другом женихов.

Роза была не из местных, попала в это глухое село на Владимирщине в начале войны: эвакуировали их вместе с матерью из-под Ленинграда. Обосновались они в одном из пустующих крестьянских домишек, там, в непривычной нужде протянули лихие годы: мать учительствовала в местной школе, Розу устроили счетоводом в лесничестве, которое было под началом моего отца. Почти, каждый день я видел ее бегущей в контору или из конторы в пальтишке, городских ботиках и деревенском платке.

Поначалу не привлекла она моего внимания - бегают и бегают, ничем не примечательная девица. Поймаешь ее взгляд, как будто оценивающий, и всё - уже пробежала. Но когда начали мы репетировать, и Роза вошла в роль, сердце мое дрогнуло, - я стал задумываться над затянувшимся своим одиночеством.

Чем упорнее мы репетировали, тем больше достоинств открывалось в ней - Роза расцветала в моих глазах нравственной красотой героини.

Без устали мы повторяли мизансцены, отрабатывали выразительность жеста, интонацию каждого произнесенного слова. И сидя в холоде пустого зала перед скупо освещенной сценой, волнуясь, переживая, за тех, кого с пылким старанием молодости пытались воплотить мои неумелые актеры, я ловил себя на странном ощущении. Мне казалось Роза ведет какой-то скрытый диалог со мной. Слова героини, проникнутые ожиданием любви, она как будто адресовала мне. Взгляды ее при этом были столь выразительны, что порой смущали, я замолкал, объявлял перерыв.

После репетиций мы обычно выходили из клуба все вместе, и уже на сельской улице расставались, - сначала один, потом другой, сворачивали к своим домам. Роза уходила третьей, где-то в середине села. При расставании, она странно возбуждалась, прощально махала варежкой с показной веселостью, вступала на едва заметную в снеговых наметах тропку. К дому, светившему окном, пробиралась старательно, с изяществом переставляя ноги в своих незаменимых городских ботиках. Надо сказать, что фетровые, в то время очень модные, ботки были её гордостью. Они выделяли ее среди деревенских девчат, тяжеловато ходивших в стоптанных, не раз подшитых валенках. Ботки Роза не снимала ни на сцене, ни в конторе, даже в лютые морозы пробегала мимо моих окон в ботиках.

Мой путь лежал, в самый конец села, где обычно, уже в одиночестве добирался я плохо наезженной дорогой к расположенному несколько в стороне лесхозовскому поселку.

Роза не однажды порывалась меня проводить, я шутливо отклонял ее порывы, не хотелось разрушать доверительные отношения, которые установились между всеми, кто участвовал, в общем, нашем драматическом действе.

И вот, случилось: Роза прошла мимо своей тропки, и я промолчал. С обычной своей аккуратностью и старанием ступая ботиками в наезженную санями колею, Роза шла рядом, молча, слушала будничные наши разговоры о морозах, метелях, недалекой уже весне.

Когда мы остались одни, Роза вдруг с пылкостью, с какой произносила свои монологи на сцене, заговорила:

- Вы знаете, Володя, мы вот репетируем, вникаем в как будто бы чужую жизнь. А ведь чужая жизнь для нас не чужая! Все высокое, чистое, что есть в будто бы чужой жизни на каждом шагу! Не все об этом думают. Но я очень даже чувствую!.. - Роза проговорила все на одном дыхании, как будто не в силах была удержать в себе такое множество слов, и разом они вырвались из торопливых её губ.

- Вы знаете, как счастья, я жду того дня, когда заполнят наш клуб деревенские бабули, тетушки, мальчишки, девчонки. Занавес откроется. Я произнесу слова, пусть не свои, но которые стали моими. И то, что я скажу, войдет в их сердца. Они со мной переживут настоящую чистую любовь! Ведь ради этого мы пришли на сцену? Правда?..

На меня она не глядела, клонила голову в вязаной, закрывающей лоб шапочке, но я чувствовал, с каким напряжением ждет она ответных моих слов.

В то время я не был житейски мудрым человеком. Ни война, ни фронт не погасили во мне романтику юности. Я все еще жил мечтой о девушке необыкновенной, способной не только согреть любовью, но и разделить со мной мое, не совсем еще ясное, стремление к жизни, доброй и справедливой. В словах Розы я услышал свои мысли, и покоренный созвучием наших душ, сказал восхищенно:

- Умница! - голос мой дрогнул; я почувствовал, что обрел друга. Когда мы прощались у моего крыльца, я задержал в своей руке её руку. Она уловила мое желание, осторожно высвободила руку, скромно призналась:

- Я так благодарна сегодняшнему дню!.. - И добавила лукаво:

- Спокойной вам ночи, Володя!..

Я смотрел, как она уходит, аккуратно ступая городскими ботиками по освещенной звездами тропке и с теплотой, прилившей к сердцу, думал: «С такой бы умницей и идти по жизни!..»

## 2

Все, кто причастен был к нашим театральным заботам, заметили изменившееся мое отношение к главной героине пьесы. Обычно я горячился,

прямо-таки из себя выходил, когда кто-то из актеров, тем более она, главная героиня, вели диалог не так, как понимал его я. Теперь же, обращаясь к Розе, я терял свой руководящий напор, с мягкостью, совершенно не присущей режиссеру, задерганному профессиональной неумелостью самостийных актеров, говорил почти просительно:

- Может, лучше произнести этот монолог по-другому?..

Роза осторожные мои подсказки принимала с готовностью, тут же всем показывала видимое свое старание. Но скрыть торжества от почувствованной своей исключительности не могла, в изгибе тонких выразительных ее губ появлялась улыбка превосходства. Любая исключительность, как известно, рождает неприязнь в людях, окружающих эту самую исключительность. Холодок отчуждения, который возник между Розой и остальными участниками театрального действия, я улавливал, но слишком поздно понял, что актерский мир вторичен, - убедительно сыграть любовь при явной человеческой неприязни даже актеру талантливому, не всегда по силам. Все чаще ловил я себя на мысли, что завершить столь дружно начатый театральный замысел вряд ли удастся.

Сама же Роза входила в личную мою жизнь с такой же неизбежностью, как снег в зиму. Теперь она принимала участие даже в моих занятиях, - заочная моя учеба в столичном ВУЗе не всегда продвигалась успешно, и Роза умно уводила меня от многих необязательных, как говорила она, увлечений. Надо сказать, даже излишне настойчивые ее заботы были приятны. Порой, мои чувства прорывались, я тянулся к Розе, она умело уходила от моих ласк, отвлекала каким-нибудь тут же придуманным, вопросом. И все время держала меня в напряжении: если по каким-либо причинам мы не виделись день-два, мысли мои из научных исторических далей неостановимо устремлялись в день сегодняшний, к милой моей избраннице.

В доме у нас Роза была уже своим человеком. Очень мило разговаривала с моей мамой. Пробовала заговаривать и с отцом. Но отец, как говорил он о себе, был воробей стреляный. На заискивающие ее любезности отвечал сдержанно, на Розу поглядывал с нескрываемой иронией. Меня это тревожило. Однажды я спросил: "Ну, как тебе Роза?".

Отец снял очки, задумчиво протирая стекла платком, ответил неопределенно: "Шустрая девица. И носик птичий..."

Однако бытовые огорчения никак не влияли на крепнувшую мою увлеченность. Мне не терпелось окончательно ввести Розу в наш дом.

Роза чувствовала мое нетерпение. И однажды, когда привычно и деловито просматривала очередной мой конспект, а я влюбленно разглядывал ее педагогически строгое лицо, с черным локоном над широкой изогнутой бровью, она подняла голову, посмотрела на меня внимательным, все понимающим взглядом, сказала заговорщически:

- Приглашаю тебя завтра к себе. Ты не забыл про восьмое марта?.. Мама уйдет в гости...- И обещающе прошептала: - Всю ночь мы будем одни...

### 3

В назначенный час я постучался в дверь домика. Роза встретила с веничком в руке.

- Ой, а я не успела прибраться! - воскликнула она.

Но в смущении видна была радость оттого, что застали ее именно в таком вот, домашнем виде. На Розе был желтый фартучек с вышитой на груди кошачьей головкой, рукава будничной кофточки закатаны по локоть, волосы на голове обвязаны марлевой косынкой. Гляделась она в этом простеньком домашнем одеянии милой хозяйшкой, обрадованной появлением близкого ей человека.

Мой одобрительный взгляд она заметила, острыми зубками самолюбиво прикусила губу.

- Ну, раздевайся! Проходи, - заговорила оживленно. Мне чуть-чуть осталось...

Сидя в комнате, я любовался, наблюдая, как Роза заканчивала приборку. Мне казалось, в домике все было на своих местах. Но Роза все ходила с тряпочкой в руке, легкими движениями обтирала спинку кровати, дверной косяк, сундучок, стоящий в углу. Зачем-то стала перевешивать с одной стены на другую цветную аппликацию, изображающую дачную террасу, стол с самоваром, двумя красными яблоками на синем блюде.

- Моя работа! - похвасталась она и со вздохом призналась:

- Еще одно мое увлечение в тоскливом затворничестве! Разглаживая холстину, она вытягивалась с изяществом, я видел изгибы ее молодого тела и прикрывал глаза, ее мягкие кошачьи движения волновали.



Закончив приборку, она сказала:

- Я на одну только минутку! - Оставила меня, и вскоре вышла из кухоньки преображенной: с высокой прической, в каком-то необыкновенном, по моим понятиям очень даже шикарном платье со стоячим воротом, подпирающим сзади колечки её волос.

Удовлетворившись молчаливым моим восхищением, Роза в приподнятых чувствах стала накрывать праздничный стол.

На столике, в круглой миске, появились четыре, еще влажных, горячих картофелины, бледный соленый огурчик, разрезанный вдоль на равные половинки, небольшой квадратный пирог, похожий на книгу, с сочащейся из-под корочек моченой брусникой. С особой торжественностью Роза поставила на столик блюдечко меда - невидаль для второго послевоенного года, когда повсеместно, и в городах, и в селах, люди впроголодь изживали тяготы лихих годин.

Что значило для Розы это блюдечко меда, я мог понять: если нам, семье более обеспеченной, приходилось в ту пору есть мелкую, как орех, картошку, заминая ее вместе с кожурой, и стряпать лепешки из отрубей, если дополнительный месячный паёк отца, как ответственного работника, состоял из килограмма крупы, баночки консервов и кулечка слипшихся карамелек, то мед на столе Розы можно было сравнить только с роскошью пиршественных столов времен Лукулла.

Я заподозрил, что бесценное лакомство стоило Розе ее городских ботишков, - в последние дни появлялась она не иначе, как в стареньких чесанках. От объяснений Роза уклонилась, но дала понять, что ради такого друга, как я, готова пожертвовать неизмеримо большим. Признавшись в том, она подошла, перебирая пальцами мои волосы, заглянула в глаза, желая убедиться, проникся ли я ее жертвенным поступком. Я проникся. Привлек ее к себе, она склонила на мое плечо голову, сказала, жалобно:

- Знал бы ты, как холодно и неуютно мне в этой деревенской глуши? - Узкие плечи ее зябко передернулись. В доме не было холодно, но я заторопился прикрыть ее полую пиджака и подумал, когда Розочка переберется к нам, придется топить печь еще и вечером: молодая жена должна почувствовать тепло нового для нее дома!

Я так размечтался, что готов был отказаться даже от ложечки меду, которую Роза, перегнувшись к столику, поднесла к моим губам.

- Ну, а теперь, - сказала она, высвобождаясь из моих рук, - теперь давай пировать!..

За праздничным столиком, Роза, с выражением скорби на лице, жаловалась на свою нудную работу в конторе.

- Представляешь, - говорила она, - как далеко это от высоких потребностей моей души? С утра до вечера: дебет-кредит, кредит-дебет. Копеечка туда, ах нет, копеечка сюда. Скоро начну пересчитывать свои вдохи-выдохи. Ужас! То ли дело, сцена! Она произносила "сцена" и бледное, суженное к подбородку ее лицо одухотворялось волнением, глаза останавливались на мне, она ждала понимания. Я брал ее руку, и гладил тонкие, удлинённые пальцы, предназначенные, как думалось мне, для игры на фортепьяно, но отнюдь не для грубых конторских костяшек. И хотелось мне как можно скорее сделать Розу счастливой.

В разговорах, мы почему-то старательно обходили главное, что должно было определить нашу общую судьбу. Как будто все разумелось само собой. И когда разговор иссяк, Роза с той же заботливостью хозяйки, которую показывала весь вечер, уложила меня на высокую деревянную кровать, где, по всей вероятности, спала ее матушка.

На кровати лежали рядышком две подушки. Я это отметил, и с наивностью, свойственной юности, подумал, сумеем ли мы уместиться вдвоем на стареньком дерматиновом диване, когда Роза переберется к нам в дом?..

Томясь в ожидании, я смотрел, как Роза убирала со стола. Смотрел и не в силах был поверить, что эта прелесть, эта умница, само женское совершенство, сегодня, вот сейчас, станет самым близким для меня человеком.

Роза все делала теперь в обратном порядке: освобождала столик, уносила посуду в кухню. И делала все без торопливости, мне даже казалось, с желанием оттянуть минуты неминуемой супружеской близости.

Я мысленно подбадривал ее: "Ну, что же ты, умница моя! - Ведь все уже решено. Надо ли бояться того, чего желаем мы оба?!"

Роза накрыла столик чистой скатеркой, стояла в раздумье, охватив шею руками. Я с улыбкой смотрел, зная, что вот сейчас, она подойдет ко мне.

Роза сделала рукой характерный жест, означавший окончательно принятое решение. Выразительный этот жест так хорошо шел к облику героини, которую играла она на сцене. Жест этот неизменно радовал мое режиссерское сердце.

И Роза подошла. Нагнулась, с материнской заботливостью укрыла меня до подбородка одеялом. Я запротестовал, высвободил руки, привлек её к себе. От поцелуя Роза уклонилась, пальцем придавила мои губы, прошептала:

- Все у нас впереди, милый! - Выключила свет, ушла за перегородку в кухню.

Я ждал, что Роза сейчас вернется, и одно одеяло укроет нас обоих.

В тишине дома тукали ходики. В кухоньке, куда был обращен мой слух, не было ни движения, ни звука. Только за окнами мартовский ночной мороз до скрипа сжимал заиндевелый плетень.

Роза не шла.

Да, я мог встать, пройти в кухоньку, где Роза, как я догадывался, притаилась на печи. Наверное, удалось бы уговорить ее, привести в комнату. Даже мне казалось, я был почти уверен, что Роза только и ждет моего зова, ждет заверений в серьезности моих намерений. Но сомнения уже вкрадывались в мою душу. Можно ли было начинать долгую семейную жизнь с тонко продуманной игры?..

В чужом доме, на чужой кровати, на неудобных подушках лежал я в невеселых раздумьях. Я представить не мог, что за одну ночь, за одну только ночь, все может перемениться в моих чувствах! Наверное, всякое чувство, особенно чувство, поименованное любовью, имеет в своем возвышении критическую точку. Достигнув этой критической точки, оно либо удвоится ответным чувством, либо в обиде, сомнениях никнет, угасает, как угасает пламя на обуглившихся поленьях. Чем дольше я раздумывал, тем сиротнее становилось мне в заметно холодеющем чужом доме.

Утром Роза, уже умытая, причесанная, вошла в комнату, радостно-игривым голосом пожелала мне доброго дня, захлопотала с чаем. Но всё видел уже по-другому. Я не мог принять ни её прически с локоном, тщательно уложенным над тонкой, как ниточка, бровью, ни ее оживленности, с которой она, не умолкая, говорила, ни подчеркнутой заботливости, с которой подавала чашку с чаем.

Каждое ее движение, каждое слово теперь было неприятно, я с трудом удерживал себя в пределах угрюмой вежливости. В какую-то из минут рука Розы с чашкой, поднесенной к губам, вдруг замерла. Глаза не по-доброму сузились, крылья заостренного носа раздулись, напряглись. Голосом резким, в котором явно слышалось раздражение, она воскликнула:

- Да, что с тобой, Володя? Я не узнаю тебя!..

Может быть, впервые в своей, в общем-то, недолгой жизни, я осознал, что бывают случаи, когда объяснения смешны. Критическая точка в наших отношениях была пройдена, огонек, влекущий меня, погас. Розу было жаль. Она не лучшим образом сыграла роль целомудренной невесты. Как бывший ее режиссер, я считал возможным одобрить ее игру.

- Все хорошо, Роза, - сказал я. - Все у тебя получилось. Я благодарю тебя.

Оделся, вышел. Уже в сенях прикрывая дверь, я услышал, как в кухоньке гроыхнула брошенная в тазик посуда. Роза дала выход злему отчаянью.

Из конторы Роза уволилась. Родственники, оставшиеся в живых после блокады, позвали ее и мать, обратно в Ленинград.

В щедрости слепящего солнца мы встретились в последний раз на тропке среди желтых разливов одуванчиков.

Роза долго смотрела мне в глаза, стараясь разглядеть хотя бы остаток былых чувств, наконец, сказала о том, что я уже знал:

- А мы уезжаем!..

Помолчала, спросила:

- У тебя не будет пути в Ленинград?

Я неопределенно пожал плечами.

Губы Розы сложились в горестную усмешку.

- Понимаю.

Она помолчала. Сказала сожалеюще:

- А ты все-таки дурачок! Какая весна могла бы быть у нас!.. Желто-зеленые глаза ее всматривались в мои глаза с холодностью птицы-ястреба, только что упустившего добычу.

- А роль невесты я все-таки сыграла!.. - сказав, она и прицелкнула пальцами, как это обычно делают в почувствованной досаде.

Роза уходила, все так же аккуратно ставя ноги, теперь уже в узких городских туфлях, точно на середину тропки. Мне казалось, она идет и мысленно просчитывает свои шаги: дебет-кредит... дебет-кредит... ..дебет...

Я смотрел, как уходит из моей жизни еще одна невеста, и вдруг явственно ощутил пробежавший по телу знобящий холодок: только теперь я сознал, в какой семейный ад мог бы шагнуть в ту странную мартовскую ночь!





Случилось это в годы, когда неустроенную молодую мою жизнь особенно остро томило затянувшееся одиночество.

Родители жили тогда под Москвой, недалеко от Солнечногорска, в малолюдном, из трех домов, поселке лесничества, куда я, новоиспеченный студент, наезжал из столицы в дни, свободные от занятий. Побродить по тогда ещё девственным подмосковным лесам было для меня такой же необходимостью, как думать, дышать, мечтать.

В один из ясных дней бабьего лета я брел в задумчивости по лесной дороге, опираясь на уже привычную свою палочку, помогавшую мне ходить после тяжелого фронтового ранения. Под ногами шуршали листья. Стайки синиц мелодично тренькая, суетливо перепархивали в поредевших зарослях. Дятел усердно долбил белеющий среди темных елей ствол березы, Вдруг вспорхнул, с криком перелетел на одиноко стоящую сосну, оседлал обломанный сук, выдал такую страстную весеннюю барабанную дробь, что будь я его подругой, тут же откликнулся бы на его запоздалый зов!

Я замечал: в дни осеннего увядания, когда предзимняя стылость уже проглядывает в высокой голубизне небес, особенно обостряется чувство ожидания. Что ждешь в осеннем безмолвии, что томит твою одинокую душу, - спроси сам себя, не ответишь, но смутное ожидание какой-то встречи, случайной согревающей радости, ведет и ведет тебя в глубь лесного безмолвия...

Вышел я в широкую луговину, открытую вдаль до чернеющих на косогоре домов незнакомой деревни. В деревню идти не хотелось, любил я одиночество. Хотел уже повернуть обратно, но взгляд выхватил две девичьи фигурки: близкий лес словно вытолкнул их на луговину. С корзинками на полусогнутых руках, с видимой ленцой усталости, брели они окольной дорогой к деревне. И вдруг заметили меня. О, чудо взаимных влечений! - само небо, распростертое над луговиной, начало сводить нас!

Незнакомые, но уже милые мне девушки, приободрено шли теперь от деревни мне навстречу. Где-то в середине луговины неминуемо мы должны были сойтись. Я уже улавливал взгляды, оценивающие меня, лукавую смешливость, слышимую издали, влек себя, хотя и сдержанно, им навстречу.

Когда я был шагах в десяти, обе девушки разом опустили корзины на землю, сели, смешливо обмахивая ладошами разгоряченные лица. Я опустился рядом. Смотрел, улыбаясь, почему-то не чувствуя обычного в таких случаях смущения.

Мне казалось, обе девушки равно ожидают моего внимания. Взгляд выделил одну из них, и сразу обе уловили, к кому расположились мои чувства. Девушка, которая не привлекла взгляда, как-то сразу сникла, с подчеркнутой небрежностью накинула на плечи кофту, сорвала травинку, стала вызывающе покусывать. Другая же расцвела, будто цветок золотистого одуванчика под солнцем.

В простеньком белом платье, под которым угадывалось плотное, как у куропаточки, тело, с задорным, смешливо наморщенным носом, с распущенными по лбу светлыми волосами, она как будто была порождением ясного дня и близких мне по настроению осенних лесов.

Уловив мое любование, она тут же озаботилась делом: раздвинула коленки, поставила корзинку между ног, стала вынимать и обрезать собранные грибы. Движения ее рук были такими завораживающими, а оголенные колени, обнимающие корзинку, так влекли, что я не удержался, ласково огладил ладонью ее мягкий локоток. Она не отдернула руку, не возмутилась, как обычно делают излишне самолюбивые девицы. Пальцы её раздались, ножичек упал в корзинку, она рассмеялась, одарив меня взглядом веселящихся глаз.

Подружка отбросила обкусанную травинку, встала, взяла свою корзинку, с безразличным видом отошла, села поодаль к нам спиной.

Мы почувствовали себя свободнее. Корзина перекочевала за спину, я подвинулся ближе. Теперь мы сидели рядом. Моя избранница склонила голову, прядка легких волос упала на покрасневшую щеку, мешала смотреть, наверное, щекотала ресницы, она не убирала ее. В просветы волос я видел ожидающий смеющийся взгляд. Я приобнял ее за плечо, склонился к её губам, почувствовал, как нетерпеливо отозвались они на прикосновение моих губ. Мы целовались, ладонь моя уже ощущала ее маленькую, напряженную грудь. Впервые я чувствовал: только от меня зависит последнее сближающее нас движение.

Если бы были мы одни в этой подаренной мне лесами встрече!..

Но донесся голос раздраженной подружки!

- Аня! Сколько можно!..

Мы отрезвели. Аня, не скрывая досады, покусывала губу. Обречено вздохнула, прошептала:

- Надо идти...

Я был в отчаянье. С пробившейся надеждой спросил, кивнув на косогор:

- Вы из этой деревни?

- Мы из Москвы, - Анюта печально улыбнулась. - Нам еще на электричку...

В печальной ее улыбке я прочитал: "Вот, и все. Встретились-разошлись...".

А меня опалило радостью, я вскричал:

- Я ведь тоже из Москвы! Я там учусь!..

И увидев, как под вскинутыми ресницами полыхнули ответной радостью глаза, торопливо заговорил:

- Анюточка, слушай внимательно. Через два дня, во вторник, в пять вечера...

- В шесть, - поправила она, как будто наперед знала все, о чем я скажу, - В шесть, - быстро повторила она. - Я не успею. Я работаю. Я на почте работаю...

- Хорошо. В шесть. У памятника Пушкину. Я буду ждать. - И не уверенный, что узнаю её в другом, столичном одеянии, да еще в многоликой толпе, всегда, особенно вечерами, нескончаемо текущей мимо всем известного места, спросил:

- А ты узнаешь меня?



Анюта прислонила ладошку к моей разгоряченной щеке, сказала, как все понимающая мама говорит несмысленнш-сыночку!

- Если даже вся Москва придет в тот вечер на Тверской бульвар, я буду видеть только тебя!.. - Гибким, мягким, каким-то кошачьим движением молодого тела она поднялась, навесила корзину на руку, спросила с хозяйской озабоченностью, как будто мы уже были одно целое:

- Грибами не поделиться?..

- Разве грибы мне нужны, Анюточка?! - сказал я с ласковым упреком, давая понять, что настроен очень серьезно.

Обе девушки уходили по луговине, Анюта отставала, останавливалась, махала мне рукой, я стоял, смотрел, не в силах поверить в случившееся чудо.

Я ждал нареченную мне небом и лесами невесту. Ходил вокруг задумчивого Пушкина, снисходительно созерцающего людскую суету, мысленно готовился к волнующей минуте, когда из движущегося людского потока выбежит девичья фигурка, радостно устремится мне навстречу. Только что я зрил чужое счастье, и мне не терпелось занять свое.

Я слишком рано пришел на бульвар, присел на скамью в боковой аллее, ожидая урочного часа, и увидел: под свисающими ветвями лип шли двое. Он и Она. Шли медленно, опьянено, не разнимая сцепленных рук. Сделав несколько согласных шагов, они в едином чувственном порыве бросались в объятья друг другу. Руки и губы, тела их сливались. Он приподнимал, кружился вместе с ней по аллее, не зная, не умея по-другому выразить опаляющие его чувства, бережно опускал женщину на земную твердь. Она прижимала голову к его груди, делала с ним вместе несколько следующих шагов, и снова Он подхватывал Её, кружил, пьянея от ее близости. Так они шли, ничего не видя вокруг. Мне казалось, в мире не было людей счастливее их!

Медленно обходя Пушкина, я смущенно думал о первом своем ответном движении, когда Анюта подбежит. Как мне поступить? Обнять, нежно поцеловать, как уже признанную невесту? Или только радостной улыбкой выразить свои чувства, повести Анюточку в глубину бульвара и уже там, на затененной липами аллее, обнять, закружить, пьянеть от ответной ее близости?

А может, просто повести ее в кино, неважно на какую картину, и там, в полутемном зале, сжать в своих ладонях ласковую ее руку, сблизить головы, почувствовать волнующую теплоту ее лица? Конечно же, в следующий свободный день я повезу ее в наш лесной поселок, представлю отцу, маме. Отец скажет что-нибудь ироничное насчет невесты. Но маме Анюточка понравится, обязательно понравится, она проста, отзывчива, мамин вкус я знаю!..

Потом вместе пойдем мы в лес, теми дорогами, по которым, мечтая о чуде встречи, бродил я в одиночестве. Вместе выйдем на ту, теперь уже заветную луговину, и там уже никто, ничто не помешает нашей ласковой близости...

Так предвосхищал я свое счастливое будущее. Уже несчетный раз обходил я вокруг памятника, уже устал повторять высеченные в постаменте бессмертные строки:

«И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал...»

«Добрые... добрые, добрые...» - твердил я, вышагивая вокруг низких тяжелых цепей, ограждающих памятник, и все чаще поглядывал на большие электрические часы, прикрепленные к столбу на противоположной стороне площади, - бесстрастные стрелки уже показывали тридцать пять минут седьмого!

Я утомился, приглядел свободное место на скамье, с широкой изогнутой спинкой, подошел, сел. Я был на виду. Анюта не могла не увидеть меня.

Соседкой по скамье оказалась молодая мама с девочкой лет пяти. Девочка шустро выбегала на дорожку, выискивала камушки, и с радостным криком бросалась к маме, показать какие драгоценности нашла.

Мама что-то говорила ей тихонько, девочка с любопытством поглядывала на меня. И вот, стеснительно, склонив к плечу головку с двумя сплетенными на шее косичками, она подошла, спросила:

- А зачем у вас палочка? У вас ножка болит?

Ну, кто из взрослых не откликнется на прелестную наивность ребенка?! Отозвался и я, с наивозможной для меня мягкостью:

- Болит. Бывает, очень болит!

- А у нашего папы ничего не болит! - сказала девочка. - Только он всегда поздно приходит, никогда с нами не гуляет.

Мама всплеснула руками, строго прикрикнула:

- Аня? Что такое ты говоришь?

Я вздрогнул от произнесенного имени, в тревожном ожидании оглядел людей, движущихся в одном и в другом направлении. Люди шли и шли, никто не выбегал мне навстречу.

Девочка осмелела, попросила:

- Можно, я вашей палочкой поиграю?

Приспособив палочку под костыль, вся, изогнувшись, хромая, она старательно ходила передо мной.

- Я раненая! - кричала она маме.

Молодая мама придвинулась ко мне, просительно коснулась моей руки.

- Вы уж извините. Такой ребенок!

Я близко увидел ее глаза: такие тревожные, ищущие глаза бывают у женщин, убежденных в несчастливом своем замужестве. Я почувствовал неловкость, поспешил успокоить молодую маму:

- Ну, что вы! Пусть поиграет, повеселится!

Женщина вздохнула.

- Ей-то весело! - сказала она, улыбнулась грустно, призывая меня к сочувствию.

Я деликатно промолчал.

Девочка наигралась, подбежала, с разбега охватила мои колени.

- Вот ваша палочка! - сказала она, лукаво заглядывая снизу в мое лицо.

- Завтра еще поиграю. Ладно?

Молодая мама низко нагнулась к девочке, поправляя сбившуюся на спине кофточку, сказала с горестным вздохом, обращенным ко мне:

- Ей так хочется видеть в вас своего папу!..

Слова молодой мамы почему-то смутили меня. Наверное, от смущения я подхватил девочку, взвизгнувшую от восторга, высоко поднял над собой. Играя, я подкидывал её с еще не испытанным, но вдруг пробившимся отцовским чувством, возбужденно хохотал, откинувшись на спинку скамьи. И в самую эту минуту увидел: от толпы в радостном порыве, отделилась девушка, похожая и не похожая на ту Анюту, что была там, на луговине, в простеньком платице, с оголенными коленками, с которой так простодушно мы целовались.

Неузнаваемо великолепно была она в светлом костюмчике, с легким голубым шарфом вокруг шеи. Я видел, как устремилась она ко мне и вдруг замерла. В растерянности отступила обратно в толпу, укрылась за памятником. Сердце подсказало: это - она, моя Анюта. Еще не понимая, что случилось, но уже охваченный тревогой, я осторожно, со всей возможной ласковостью, освободился от девочки, поднялся, пошел с нарастающим беспокойством к памятнику.

Девочка догнала меня, доверчиво зацепилась за руку, сказала деловито:

- Я тоже с вами...

Отправить ее обратно я не посмел. Придерживая девочку за руку, ходил и ходил вокруг памятника, выискивая среди множества лиц единственное, необходимое мне лицо. Я чувствовал, я не мог ошибиться, я физически ощущал взгляд Анюты, откуда-то устремленный на меня, и не мог, нигде не мог увидеть милых ее глаз. Людская толпа колыхалась, текла мимо, равнодушная к моему отчаянью. Напрасно прождав прощения за безвинную вину свою, я вернулся с маленькой Анютой к предавшей меня скамье.

Молодая мама, приняв от меня девочку, спросила сочувственно:

- Вы кого-то ждали и не дождались?

Я скорбно вздохнул.

Молодая мама внимательно на меня посмотрела. Опустив глаза, разглядывая свои аккуратно подстриженные, покрытые розовым лаком ногти, сказала:

- Вас удивит, если я признаюсь, что знаю вас. Я была бы рада, если бы завтра, в это же время вы снова пришли сюда. Я ведь не ошибаюсь, вы учитесь вон в том институте? - Она глазами показала на видимую сквозь стволы деревьев, высокую чугунную ограду Дома Герцена. - Я буду ждать. Очень! - И многозначительно добавила:

- Мне кажется, я смогла бы вас утешить в случившемся огорчении.

Я болел. Лежал на койке студенческого общежития во флигеле институтского здания, одолевая в поте лица и тела жар, мучивший меня уже третий день. В комнату вбежал сосед по койке, Николай, или Колян, как звали мы его на французский манер, полненький, суетный, с выпуклыми насмешливыми глазами, возбужденно крикнул:

- Володька, тебя спрашивает шикарейшая дама! Примешь?!

Мысль о том, что разыскала меня Анюта, мгновенно сломила болезнь. Я даже приподнялся, поторопился:

- Ну, зови же!

Колян ввел в комнату молодую маму той девочки Анюты, которая так хотела видеть во мне своего папу. Мама выглядела, действительно шикарно: в белой короткой шубке (хотя зимы еще не было), в белых сапожках, в белой шапочке, кокетливо сдвинутой на сторону, высвобождающей волну черных волос над маленьким ухом, она могла бы своим видом сразить любого столичного Дон-Жуана. Но я-то ждал Анюту!..

Я упал на подушку, в обманутом теле снова запылал жар. Молодая мама, ничуть не смущаясь любопытствующим взглядом моих сокурсников, придвинула к кровати стул, распахнула шубку, села. Обласкивая меня сострадающим взглядом, заговорила в полголоса:

- Если б вы знали, Володя, как мучительно я переживала ваше отсутствие!

Я не мог понять, как узнала она мое имя?! Ведь я не представлялся ей!

Молодая мама девочки Анюты продолжала говорить:

- Мое сердце - вещун. Все эти дни оно болело болью вашего сердца: ведь вы не могли не прийти, зная, что вас ждут?! Видите: я не ошиблась. Вы весь в страдании... - она озабоченно раскрыла сумочку. Выложила на тумбочку два крупных яблока, большой бумажный аккуратно перевязанный пакет.

- Это пирожки, Володя. Специально для вас, Вы любите пирожки? Измученно закинув руки за голову, я сказал:

- Пирожки я люблю. Но я болен!..

Молодая мама девочки Анюты достала из сумочки платочек, озабоченно стерла пот на моем лице.

Я вдохнул запах духов, но легче мне не стало, в висках стучал молоточком пульс. Стыдясь своей беспомощности, понимая, что молчать невежливо, я спросил:

- Как удалось вам отыскать меня?

Гостья улыбнулась снисходительно и таинственно.

- Вы, наверное, еще не знаете, Володенька, что может женщина, когда ведет ее чувство!.. - она склонилась низко ко мне, в полутьме комнаты от сгустившихся за окнами сумерек глаза ее почти огненно светились. Она прошептала:

- Если бы вы были сейчас одни!..

Я до боли сжал веки. Желаящая меня женщина слово в слово повторила то, что в отчаяние твердил я, целуя под высоким небом зовущие губы Анюты!

- Вам плохо? - спросила она.

- Плохо! - ответил я, и кажется, не очень вежливо.

Мама маленькой Анюты взгляделась в часики на своей руке, проговорила с сожалевшим вздохом:

-Так не хочется расставаться! Но мне надо идти. Поправляйтесь, Володя. Я буду ждать вас каждый вечер, на той же скамейке, у памятника, - она поднялась, поправила под моей головой подушку.

Мне показалось, она хочет меня поцеловать. Я отвернулся.

Анюта, подаренная мне небом и лесами, и молодая мама маленькой девочки Анюты ушли из моей жизни навсегда.





В дни тихого предзимья, когда землю прихватило уже легким морозцем, появился в лесхозовском поселке новый человек. Высокий, худощавый, с косматящимися бровями, из-под которых остро и смело, глядели умные глаза, он по-хозяйски обошел усадьбу, зорко всматривался в меня, сидящего на крыльце в шапке и шинели, с книгой на коленях, решительными шагами поднялся в контору.

Вечером я узнал, что на работу оформился новый конюх, Аверьян Петрович, что он сам из дальней деревни, что он вдов и жить будет в сторожке при конюшне с единственной своей дочкой. Узнал, что дочку зовут Любушкой, и что-то такое теплое, влекущее послышалось мне в этом имени, что сердце мое дрогнуло.

Любушку впервые я увидел издали на другой день, она помогала отцу переносить сено из прежде привезенного стога в конюшню. Работала споро, с видимой охоткой, и ворох сена, который, подняв на вилах, она несла, казался больше её самой, - настолько Любушка мала была росточком, ну прямо девочка с круглым, раскрасневшимся от морозца и работы лицом.

Встретиться, поговорить случая не представлялось, в ту пору моя жизнь шла уединенно, я усиленно одолевал институтскую премудрость второго курса. Изредка вытаскивал стул на крыльцо, сидел, потеплее закутавшись, со щемлящим чувством утраты оглядывая уже отяжелевшие снегами леса, которые еще совсем недавно, даже в самый канун уже минувшей войны, были доступны для меня, как дом, в котором теперь я жил.

Очень скоро, почти в каждом из дней, я стал находить на крыльце то веточку от зимнего дуба с трогательно стойкими листьями, то еловую лапу с янтарными шишками, то пучок веточек плакучих берез зябко висящими сережками, терпеливо ожидающими весеннего тепла.

Я не видел, как появлялись на крыльце эти трогательные знаки внимания, но верно догадывался, что еще неизвестная мной Любушка вот так, невидимо разговаривает со мной.

Вскоре, после зимнего солнцеворота, когда покрытое изморозью стекло в окне сверкало и блестело в солнечных лучах, а я сидел за столом, раскрыв ученый труд, и вдумывался в исторические закономерности расцвета и упадка земных цивилизаций, мама приоткрыла дверь, сказала со значением:

-А к тебе Гость!..

Любушка вошла стеснительно, в то же время с какой-то детской решительностью, остановилась у края стола, густо краснея, произнесла срывающимся голосом:

- Я к Вам... Может, дадите что-нибудь почитать?

Тут-то и разглядел я таинственную дочку нового конюха. Ну, совершенно круглое, открытое, доброе лицо, как у расписных глазастых русских матрешек! Из-под серого платка, охватившего голову и концом закрученного вокруг шеи, выбивалась на лоб прядка светлых, с какой-то даже рыжиной, волос, на широком носу и вокруг россыпь простодушных веснушек. Щеки Любушки продолжали гореть, но широко раскрытые глаза смотрели прямо, как у отца, и с доверчивым ожиданием.

В ту первую встречу не все я увидел, это потом разглядел прямые брови, которые по какому-то внутреннему побуждению вдруг строго сдвигались к переносью, приоткрывающие характер непреклонный, и волевую ямку посередине вроде бы мягкого подбородка. А сейчас, в первом близком пригляде, меня как будто опохнуло мягким теплом. Я даже растерялся, засуетился, не зная, как повести себя с необычной гостьей.



А маленькая, вся какая-то уютная девушка с родственной доверчивостью стояла рядом, смотрела на меня пытливо, как будто спрашивала: "А ты знаешь, зачем я пришла?".

В охватившей меня суетности, я бормотал: "Почитать... Почитать... что же дать тебе почитать?".

На диване, под подушкой, лежали охотничьи рассказы Пришвина, для меня, в моем положении, это было утешительное чтение. Ничего другого под рукой не было. Я повернулся взять стоящий у окна костыль. Любушка, в готовности помочь, предупредила мое движение.

- Вы не вставайте! Скажите - где, я подам! - Она достала из-под подушки книжку, передала мне. Сама вернулась к дивану, заботливо взбила подушку, расправила одеяло, разгладила маленькой ладошкой складочки.

Принимая от меня книгу, спросила:

- Хотите, чтобы я эту прочитала? - И засмеялась тихонько. - Это скорее для папани. Он когда-то охотничал. Но я все равно прочитаю, - сказала она, прижав книжку к груди. - Ведь вам она нравится?

- Нравится, - признался я, радуясь той милой непосредственности, с которой девушка вела себя.

- Ну, я пойду? - вопросительно сказала Любушка и вздохнула. Уходить ей не хотелось.

## 2

По пенсионному делу надо было ехать в военкомат, в районный центр. Отец разрешил взять Орлика, и Аверьян Петрович поутру лихо подкатил к крыльцу, заботливо усадил меня в санки, с отеческой заботливостью укутал в тулуп.

До города было пятнадцать верст, мы покатали. Орлик, как всегда, шел напористо, комья снега летели из-под копыт, били в передок саней. Вид засугробленных полян среди заснеженных лесов, располагал к молчаливому созерцанию. Но Аверьян Петрович не был в спокойствии, держа в руках натянутые вожжи, то и дело привставал, покрикивал, побуждал Орлика к ровному стремительному бегу. На полдороге придержал коня, пустил шагом. Готовясь к разговору, прокашлялся. Сказал:

- Хочу спросить тебя, Володимер (так звал он меня, сильно округляя и нажимая на "о"), спросить, хочу, как располагаешь жить?

В откровении дорожной беседы, я ответил:

- Пока жизнь мной располагает, Аверьян Петрович. Кто знает, в какую сторону повернет. Еще доучиться надо.

- Учение - это хорошо, - одобрил Аверьян Петрович, помолчал, в беспокойствии перебирая вожжи. Опять вернулся к интересующему его вопросу:

- Учеба учебой. Дело понятное, умственное. А в личном вопросе? Тебе, как понимаю, надо по-семейному устроиваться. Чтоб и с этой стороны, как говорится, жизнь подпереть. Небось, мыслишка-то беспокоит?

- Дума-то есть. Да невесты уж больно расчетливы. Кому охота такую обузу на себя брать, - сказал я, явно напрашиваясь на сочувствие.

Аверьян Петрович несогласно покачал головой, тут же в горячности заговорил, покручивая концом вожжей:

- Не к лицу приbedняться, Володимер. Парень ты крепкий, видный. А что костылем подпираешься, в том ли беда? Вот женишься, детишек нарожаете. В рост пойдут, заботы, хозяйство на себя примут. Тут, Володимер, ежели так на себя смотреть, мимо судьбы прокатишь!..

Чувствовал я, близок, близок был Аверьян Петрович к тому, чтобы досказать что-то его беспокоящее. Но удержал он себя. Привстал, тряхнул вожжами, прикрикнул:

- А ну, Орлик! Пшшол!..

В молчании мы снова понеслись по дороге.

### 3

Любушка в другой раз навестила меня, возвратила книгу.

- Ну, как тебе Пришвин? - любопытствовал я.

- Собачку жалко! - оказала она. - Когда Анчара убили, я аж дышать перестала. И заплакала... А тот самый, который стрелял, он что - придурком прикинулся? Стрельнул - и не признается!..

Приятно было убедиться, что Любушка бесхитростна и выполняет обещанное. Смотрел на неё, наверное, с очень уж откровенным любованием, она даже смутилась, спросила испуганно:

- Я не так говорю?!

-Так, так, Любушка. Ты просто прелесть! - воскликнул я с прорвавшимся восхищением. Любушка вспыхнула.

- Скажете тоже, - проговорила она стеснительно и отвернувшись. Я дотянулся до её руки, сжал жесткую, огрубевшую в крестьянских работах ладошку, повторив с чувством:

- Ты славная, ты очень хорошая девушка. Только не могу понять, почему вы бросили свой дом, деревню, сюда перебрались? Тебе, наверное, учиться ещё надо?..

Мучительное смятение мыслей отразилось на лице Любушки. Меня даже оторопь взяла. Но Любушка уже справилась с собой. Брови сдвинулись, нахмурились, она опустила голову, смотрела на свою руку, которую я продолжал держать в своих руках. Заговорила с придыханием, как на бегу.

- Папаню-то на войну взяли. Грудь у него вся больная, думали, лихо мимо пройдет. А оно большим худом обернулось - маманя не в срок померла. Папаня изжить себя хотел. А я-то при нем! На меня глядячи живой остался. Своей жизнью меня поднял. Я-то вот подросла. А в деревнях повсюду глухо. Одни вдовы да девки. Судьбу-то как устроить! Вот батя и говорит: «Давай, доча, в село, хоть на время переберемся». Туточки вот и оказались... - Ладонь ее выскользнула из моих рук. Она вздохнула, развела руками, будто сказав: "Такие вот мы, не пристроенные...".

Смотрел я на Любушку, и билась в голове одна только мысль: "Какой же я слепец... Какой слепец!..".

#### 4

На этот раз я сам пошел к Любушке. Поднялся на чисто вымытое крыльцо, постучал в обитую кошмой дверь. И Любушка, и Аверьян Петрович были дома.

Аверьян Петрович, сдерживая приветливую суету рук, освободил меня от шинели (в сторожке было натоплено), усадил на широкий табурет, единственный в малом пространстве комнаты.

Сторожку изнутри я видел впервые. Подивился тесноте, где кроме двух топчанов, застеленных суконными одеялками, дощатого стола между ними, печи с плитой, на которой стоял большой медный чайник, да хомута в углу со связкой вожжей, ничего не было. Но даже из этой тесноты гляделся порядок, опрятность, поддерживаемая, как можно было догадаться, стараниями Любушки.

Сама Любушка сидела на топчане, расчесывала перекинутые через плечо на грудь рыжеватые свои волосы. На меня глянула поверх руки, в которой держала гребень: в лице смущение, в глазах радость, руки стали быстро заплетать косу.

Прежде я видел Любушку в пальтушке, окутанную платком, с виду таким толстеньким медвежонком. Теперь передо мной была, не скажу, чтобы красавица, но милая девчущечка в простом свободном платье, несколько полненькая, как мне показалось, но вся светлая, теплая, словно летний полдень.

Держа во рту гребень, торопясь пальцами, она доплела косу, перехватила кончик тряпичной лентой, забросила косу за спину.

Перехватив мой изучающий сторожку взгляд, сказала с каким-то вызовом:

- Да. Вот так мы и живем!

Аверьян Петрович счел нужным пояснить:

- Тесно, да не в обиде.

На что Любушка тотчас откликнулась:

- А в деревне дом у нас большой! - Ноги её, обутые в катанки, не доставали до полу, при каждом слове она вскидывала то одну, то другую ногу, будто играла в мяч, полные коленки её при этом вызывающе выбивались из-под платья. Вообще здесь, у себя дома, Любушка не была похожа на ту робкую девочку, которая приходила за книгами. Мне даже казалось, что Аверьян Петрович больше стеснен моим присутствием, и вовсе не он, а Любушка в их сиротной семье являет собой хозяйку.

Для меня это было неожиданным открытием. С ещё большим любопытством приглядывался я теперь к загадочной девчущечке, которую даже мысленно ещё не связал со своей жизнью.

Аверьян Петрович пристально, с каким-то мягким упрёком подсказал:

- Ты бы, доча, угостила гостя молочком. Нашим, деревенским!..

Любушка глянула на меня вопросительно, не дожидаясь моего согласия, спрыгнула с топчана, топая по полу в азарте предстоящего угощения, пробежала в сенцы, вернулась с крынкой, наливая молоко в кружку, приговаривала, певуче растягивая, как говорят обычно женщины в крестьянских домах:

- Вот, попробуйте молочка. Это от нашей коровки, от Красулечки. Только вчера папаня привез, домой ездил. Коровку-то мы пока на тётю Катю оставили. Чтоб приглядывала... Кружку-то вам туда подавать? Или к столу переберетесь? Садитесь на топчан, удобнее будет... Давайте помогу!..

Было приятно видеть Любушку в привычных ее домашних заботах. Я поднялся, передвинулся к столу, смущаясь заботливых Любушкиных рук, которыми она усаживала меня на топчан, ставила к стенке костыль, пододвигая кружку.

- Пейте, пейте! - упрашивала она. - Вот только хлебушка у нас, - она вопросительно глянула на отца, Аверьян Петрович скорбно развел руками.

- Папань! А пол тети Катиной колобушки еще с утра осталось?..

- Ну, так и ставь на стол! - отвечивал Аверьян Петрович.

От колобушки я не посмел отщипнуть ни кусочка, молоко отпил, похвалил, не покривив душой, - молока давно я непил.

Любушка смотрела, как прикладываю я к губам край кружки, по-детски сочувствовала каждому моему глотку, глаза её довольно блестели. Она приговаривала:

- Ну, попейте еще. Ну, еще глоточек!..

Аверьян Петрович сдержанно покашлял, поднялся, в озабоченности будто вспомнив, сказал:

- Пойду, сенца коню подброшу... - Вышел, плотно притворив дверь. Любушка ничуть не удивилась, что папаня ушел. Села рядом на топчан, подсунула под себя ладошки. Болтая ногами, поглядывала на меня улыбочиво.

В непривычности чужого дома, перед развеселившейся девочкой-хозяйюшкой, я чувствовал себя скованно. Руки держал перед собой, крепко сцепив пальцы.

Любушку и веселило, и томило мое молчание. Она болтала ногами, играла язычком по пухлым своим губам.

- А можно я спрошу вас о самом-самом?.. - Вобрав голову в плечи, она замерла, ожидая.

- Спрашивай, - ответил я, еще не догадываясь, какое "самое-самое" тревожит её.

- Тогда я спрашиваю?! - предупредила Любушка и прошептала:

- Вы когда-нибудь целовались?

Вопрос был до того наивен, что я рассмеялся.

- Чего вы смеетесь? - обиделась Любушка. - Ведь когда целуются, это серьезно?..

- Очень серьезно, Любушка, - сказал я, смирив веселость. - Чехов Антон Павлович был очень чутким человеком. Так он записал однажды: "Умри, но не давай поцелуя без любви".

- Вот видите! - строго глядя на меня, сказала Любушка. И тут же призналась:

- Я никогда, ни с кем еще не целовалась!..

Оказались мы в затруднительном положении: оба хотели того, что сами запретили себе.

Любушка перекинула косу себе на грудь, потупясь теребила лоскуток на кончике косы. Не поднимая головы, проговорила:

- А если скажу. Если я скажу, что полюбила. Вы поцелуете?

Со всей возможной нежностью, которая дана была мне от моей нежнейшей мамы, прикоснулся я губами к испуганно дрогнувшим ее губам.

Услышал нетерпеливый шепот:

- Еще... Ну, еще...

Я целовал теплые, мягкие Любушкины губы, они становились все горячее, они уже обжигали мои губы? Не знаю, куда бы завело увлекшее нас лобзание. Но нарочито громкое топание ног на крыльце возвращающегося Аверьяна Петровича заставило нас остепениться.

Любушка нехотя спрыгнула с топчана, отошла к оконцу, стояла, обмахиваясь концом косы.

Аверьян Петрович взошел, остро глянул на пылающие щеки дочки, удовлетворенно обмял пальцами усы, сказал бодро:

- На воле-то морозец!

Поцелуи в сторожке повенчали нас. Любушка осмелела, чаще забегала к нам. Склонившись за столом, с любопытством заглядывала в мои раскрытые тетради, звала нетерпеливо на волю. Ходили мы по дорожкам пустынного, в вечерние часы, лесхозовского поселка, приостанавливались, целовались, снова ходили. Расставались нехотя, когда в окнах нашего дома потухал свет.

Невысокая росточком Любушка всегда заботливо подставляла плечо под мою руку, с видимым старанием, принаравливалась к моему шагу, костыли к тому времени я оставил, мог уже ходить, опираясь только на палочку.

Ум мой в ту пору, хотя и был занят приобщением к разным философским понятиям, а все-таки с радостью внимал торопливому говору Любушки.

Ее рассказы о жизни в деревне, о коровушке, огородных заботах, о грибах, которые она собирала под заветными березками, о родничке со святой исцеляющей водой близ речки Куюкши, вызывали участие. И чем больше слушал я Любушку, тем ближе, понятнее, роднее становилась она. В какие-то минуты я даже ловил себя на мысли, что ее, Любушкины заботы, и есть сама жизнь. В такие минуты кощунственно бледнели в моем сознании все изучаемые мною философские премудрости.

А весна уже ломилась сквозь истаивающие снега. Склоны холмов, пробрызнули веселой зеленью. Запустились серебристым шелком посветлевшие прутья ив. Свадебная птичья суета заполонила ветви берез, отяжеленных гнездами.

Любушка в дни наших прогулок с любопытством наблюдала гомонящих галок и грачей, однажды спросила:

- Интересно, как грач отличает свою подругу? Они же все одинаковые?

Мое сердечко дрогнуло: я догадался, что и Любушка думает о своем семейном гнезде.

В майском тепле сплошь забелел вишенник на краю лесхозовской усадьбы. Не раз в своих прогулках мы проходили мимо, любясь его манящим цветением. В какую-то из ночей, остановились, в снежно-белой замети. Любушка молча закинула руки мне на плечи, потянулась к моим губам. Я почувствовал, как с ласковой настойчивостью ее руки потянули меня к земле.

И случилось то, что так долго томило нас обоих. Любушка лежала, закинув голову. Глаза ее были открыты. Она смотрела на звезды. На краешке её губ белел опавший лепесток. Наверное, он мешал, она могла бы его сдуть. Но губы её будто застыли в странной удивленной улыбке.

Я приблизил свое лицо к её лицу, губами снял с её губ лепесток. Любушка судорожно, в то же время и с чувствуемым облегчением вздохнула, руки её охватили меня, крепко прижали. Я услышал, как она простонала: "Что же такое мы с тобой наделали...", - голос её дрожал от смущения и радости.

Я отыскал ее руку, поднес к губам. Поцеловал по очереди каждый из пяти пальцев. Сказал, успокаивая её и себя:

- Вот мы и породнились, Любушка!..

## 6

Аверьян Петрович встретил меня в деловой озабоченности, усадил на лавочку под окном.

- Ну, что, Володимер, - начал он разговор, сильнее обычного нажимая на "о". - Жить-то где будете? К себе дочку возьмешь? Али к нам в дом переберешься?..

Я понял, что секретов от отца у Любушки нет. "Ну, что ж, - подумал. - Значит, и говорить легче!".

- Коли к нам, продолжал Аверьян Петрович, - зараз скажу, чтоб никаких сомнений у солдата не было: пока я жив, я тебе опора. Накосить ли, за скотиной поглядеть, по плотницкому ли делу - все на мне. И тебя, и Любушку обихожу. Хотя напрямки скажу: по дому, по саду-огороду сама она горазда. Милуйтесь, покуда я жив. А там ежели что, Любушка все на себя примет. Скажу еще: к каким занятиям ты привычен, все при тебе останется. К делам твоим умственным я и Любушка - с полным расположением. Взгляда недоброго не будет! Только об одном попрошу, Володимер, ласков будь с Любушкой! В девках ласки не добрала. А в войну и того - осиротило!.. Так как располагаешь, Володимер?!

- Что тут располагать, Аверьян Петрович? Ясное дело, к нам Любушка переедет! - сказал я, вполне уверенный, что в нашем доме отказа моей невесте - жене уже! - не будет.



- На том и порешим! - удовлетворенно заключил Аверьян Петрович, в радостной забывчивости, прихлопнул рукой по бесчувственному моему колену. Смутившись, отдернув руку, пробормотал, - ничего, ничего, солдат... Сдюжим... Я ведь тебя зараз отличил, как в крыльцо глянул. Сильный мужик, верный. Этот в куст не запрячется... Значит, так, Володимер. Сам-то я здесь, в сторожке приживусь. Коровку из дома приведу. Молочко вам понадобится. Да и твоих отца с матерью поддержать не грех. Тот же огородишко, то да сё, с Любушкой в четыре руки спроворим. Только, Володимер, еще раз прошу, с лаской к Любушке будь!..

7

Домой я шел, будто подарок нес, - спешил порадовать родителей столь важным известием.

Дом встретил меня необычным молчанием. Мама в расстроенных чувствах сидела за столом, в лице её была скорбь. Отец в озабоченности ходил в малом пространстве от постели до стола, держа в руке носовой платок, время от времени шумно сморкался, что означало едва скрываемое раздражение.

В ответ на мой удивленный взгляд, мама грустно сказала:

- А мы уезжаем...

Новость потрясла меня.

- Как уезжаем? - крикнул я, - Зачем?

- Сядь, - сказал отец. - Будем говорить спокойно. Есть одно обстоятельство, оно выше наших желаний. Меня переводят в министерство, в Москву. Думаю, это даст и тебе лучшую возможность учиться.

- Я никуда не поеду, - сказал я. - Еще раз говорю, я никуда не поеду. У меня здесь невеста. У меня здесь жена!..

- Любушка? - спросила мама без удивления, как будто все было ей известно.

- Да, Любушка, - ответил я с вызовом, готовый оградить и себя и невенчанную мою жену от всякого постороннего вмешательства.

Отец издал звук, означавший нечто среднее между "Еще не легче? " и "Умеешь же ты делать подарочки!" - быстрее заходил по комнате, время от времени оглушительно сморкаясь.

- Ну, что ж... - сказал он, наконец. - Если это серьезно, если это уже жена, - произнес он с нажимом, - придется потесниться на новом месте.

- Она не одна, - уточнил я угрюмо. - Она с отцом. Потому никуда я не поеду. Я останусь жить в этом доме.

- Да? - сказал отец насмешливо. - Во-первых, ты забываешь, что дом этот не наш, он принадлежит лесхозу. Во-вторых, сам лесхоз ликвидируется. Полностью. Леса и все хозяйство передаются леспромхозу. Как видишь, меняет нашу жизнь не моя блажь. Ты должен знать о таком понятии, как государственная необходимость!..

Да, государственную необходимость я познал, едва закончив школу. Но тогда была война. Теперь войны не было. И я не хотел, чтобы моя личная жизнь зависела от государственной необходимости.

Я решил отстоять себя, и Любушку, заодно Аверьяна Петровича. Понимая, как непростительна боль, которую наношу маме, наверное, отцу тоже, я тихо, но твердо сказал:

- Тогда, я остаюсь жить с Любушкой в деревне. Перееду к Аверьяну Петровичу.

Отец остановился, платок застыл в поднятой его руке. Мельком я увидел побледневшее лицо мамы и больше не мог поднять глаз. Наконец, уловил со стороны мамы движения, услышал тихий ее голос:

- Володенька, ты подумал о том, что говоришь? Как ты будешь жить в деревне, среди сплошных снегов? Ты же из дома выйти не сможешь. Потом, тебе надо учиться! Как доберешься ты до станции, когда придет время ехать на экзамены? Любушка - хозяйственная девушка. Но подумай, в каких условиях вы будете жить?! Хватит ли у нее сил взять на себя все заботы?

- Хватит! - сказал я угрюмо.

Мама вздохнула:

- Не хочу обижать ни тебя, ни Любушку. Но чувства, Володенька, не вечны. То, что кажется преодолимым сейчас, через какое-то время может обернуться трагедией... - Мама говорила с болью, говорила мудро, я не мог не сознавать ее правоты.

Но я уже принял, я уже увидел, расположился в ясной, понятно устойчивой жизни с Любушкой, в той жизни, которая была обозначена Аверьяном Петровичем.

Я никак не мог отрешиться от той возможности, которая устраивала бы всех, и я в слабой, какой-то скулящей надежде попытался спасти тот счастливый, как мне казалось, выстроенный в моем воображении мир.

- Понимаю, мам,- сказал я. - То, что ты говоришь, я понимаю. Понимаю, что я уже не тот здоровый мужик, который мог бы вписаться в крестьянскую жизнь. Все понимаю. Но я люблю. Знаю, верю, что Любушка будет хорошей, заботливой женой. Почему мы не можем остаться здесь, по-родственному жить всем вместе?!

В снова наступившем молчании вопрос изжил себя сам: для отца, мамы, да и для меня тоже, ответ был очевиден, я просто не мог еще справиться с болью от так неожиданно обрушившейся мечты.

Снова услышал я осторожный голос мамы:

- Володенька, ведь Аверьян Петрович умелый, самостоятельный человек. К крестьянской жизни приучен. Он и один проживет. Будет приезжать, навещать нас. Что поделаешь, такая уж девичья доля: от отца, от матери переходить к мужу в дом!..

С Любушкой вышли за околицу, опустились на молодую траву, среди проглядывающих из зелени луговых цветов.

Любушка терпеливо ждала от меня важных для нее слов. И пока я молчал, внутренне собираясь с силами, чтобы поведать ей о случившихся переменах, она потянулась, сорвала ромашковую головку, играя в лукавость, стала обрывать лепестки, приговаривая: "Любит - Не любит... Любит - Не любит... Любит...", - воскликнула радостно. Заглядывая мне в глаза, поведала:

- Вот, видишь, что нагадала ромашка!.. Я постарался ответить улыбкой на её игру, заговорил, едва ли не с дрожью в голосе:

- Любушка, милая. В нашей жизни должны произойти очень серьезные перемены...

Любушка опустила голову, в смущении затеребила подол платья. Я знал, каких слов она ждала. Но пришлось говорить о другом. Я поведал ей, о чем говорили со мной дома, о том, что не будет больше нашего лесхоза, о том, что придется ей уехать далеко-далеко вместе с нами.

Любушка долго молчала, в растерянности разглаживала на коленке край платья, по лицу её блуждала странная не свойственная ей усмешка. Вздохнула, сказала сожалеюще:

- Говорила же я папане, что ничего такого у нас не получится. Собрался судьбу мою устроить. Вот и устроил!.. - Любушка посмотрела мне в глаза. - А я, в самом деле, тебя полюбила...

Я вскричал:

- Что ты говоришь! - Ты жена моя, ты поедешь с нами!..

Любушка покачала головой, опять усмехнулась не своей усмешкой.

- А папаня? - сказала она. - Без меня у него жизни нет. Сгубит он себя, коли уеду. Нет, Володечка, не пара я тебе. У тебя своя жизнь, у нас - другая. Говорила папане, не услышал...

Я был в отчаянии. Волнуясь, убеждал, чуть ли не молил, говорил о согласной семейной жизни, о том, что люблю, и буду любить, беречь, и Аверьян Петрович будет приезжать к нам. О чем только не говорил, страшась потерять первую, действительно необходимую, дорогую для меня женщину. Все было напрасно: Любушка слушала с печальной, понимающей улыбкой, покачивала головой.

- Нет, Володичка, это ты сейчас так говоришь. Хороша я для тебя вот здесь, где только ты да я. А в городе не покажусь я тебе. Там, небось, в каждом доме, в каждой улице столько барышень красивых, нарядных. Что я перед ними? Дурнушка с конопушками!..

Я не находил нужных слов. Ухватился за последнее, что могло бы её удержать при мне.

- Любушка, - сказал я. - А если дитеночек?..

- Ребеночек? - не удивилась Любушка. Вот и хорошо. Не одна буду. И память о тебе... Не надо, Володичка, не надо! – Теперь уже она успокаивала меня, - Не надо. И тебя жалко. И себя жалко... Да, видать, не судьба...

В отчаянии пришел я к Аверьяну Петровичу, веруя, что он-то уговорит Любушку поехать с нами. Аверьян Петрович в полном расстройстве сидел за столом, подперев рукой худую щеку, отрешенно глядел в окно. На мои настойчивые уговоры, отмахнулся:

- Разбирайтесь, Володимер, сами. Нет таких наговоров, чтоб Любушкино слово осилить...

В столичной жизни не было душевного покоя. Дурнушка с конопушками, милая несговорчивая моя Любушка виделась издали лучшей из всех, когда-либо мной встреченных. Ничего не было вокруг, что могло бы заполнить тоскливую пустоту в не смилившейся моей душе.

Как только закончилась сессия и явилась возможность распорядиться временем, я отверг все уговоры отца и мамы, отправился обратной дорогой туда, где, как верилось, ждала меня Любушка. Ехал с твердым намерением вызволить свою семейную половинку из деревенского затворничества, вместе вернуться в приветившую нас столицу.

Отец, чувствуя, что от задуманного я не отступлю, дал письмо к знакомому военкому, и крепкий военкоматовский конь, впряженный в легкие дрожки, донес меня до знакомых мест.

В родном мне лесхозовском поселке хозяйничали уже другие люди, никто из них не ответил вразумительно о конюхе Аверьяне Петровиче, о дочери его Любушке.

Тут же я отправился дальше, в деревню, в которой прежде жил Аверьян Петрович. Отыскал заветный дом, где родилась и росла Любушка, и померк светлый летний день - дом стоял заколоченный. Тетка Катя, сестра Аверьяна Петровича, с которой я говорил, сказав, кто я такой, обрушила на меня весь скопленный свой гнев. Выговорившись, узнав, зачем я приехал в лесную их глухомань, попритихла, повздыхала, приглядываясь ко мне, поведала:

- Поздно, парень, спохватился. Любушка - девка гордая. Слюбилась, да не покорилась. При людях ни слезиночки не проронила, Хулу бабью пережила. А как дите под сердце стукнуло... Видать, прежде с Аверьяном все обдумали: коровку продали, хозяйство порешили. Сгинули с земли родной... Где обитают, одному Богу известно. Не гляди, не гляди так, парень! Вот те крест, не ведаю. Единой весточкой не сподобили с тех самых пор. А ведь знала Любушка, что заявишься! Знала! Наказала снять с тебя вину. Пусть, мол, не печалится. Живет, будто её, Любушки, не было! Люб ты ей был. Загадала жизнь на тебя положить. Да, видать, не судьба! - повторила она слова Любушки, и от памятных безысходных этих слов так нехорошо стало, что впору было ткнуться головой в стол и зарыдать.

В таком бездумье пробыл я весь обратный путь. Перед выездом в город пожилой возница, похоже, из бывших солдат, видно, меня жалеючи, вдруг изрек:

- Вот так, парень. Войны нет. А жизнь опять не без потерь!..

Я промолчал.





Это потом я задумался, что вовлекло меня в эту странную историю. А тогда... Тогда в моей жизни появилась Лёля.

Работала Лёля в маленькой театральной столовой, где питались вечно спешащие куда-то актеры. Институт наш примыкал к зданию театра, и нам, студентам, чаще голодным, чем сытым, разрешено было заглядывать в актерское святилище с черного хода, подпитывать себя, согласно денежной наличности.

Мой друг и сокурсник Серега, имевший постоянную дотацию от, занимающего важный пост, папаши, первым разведал путь в уютный зальчик, где вполне можно было насытиться самими запахами еды, и однажды повел меня с собой.

Пока мы пробирались длинными театральными коридорами, Серега предупредил!

- Есть там такая душечка! И, кажется, в твоём вкусе... Устроились мы в уголке, за столиком, и Лёля-Душечка подошла, произнесла тихо, глядя на Серегу с робкой улыбкой.

- Рада видеть тебя, Сереженька!

Надо сказать, Серега, по общему признанию, был красавцем: темные, волной, волосы, утонченный нос с мужественной горбинкой, обволакивающий взгляд умных глаз - для женщин он был неотразим.

Негласную сторону бытия он познал раньше меня. В наш институт перешел он из ВГИМО, из элитарного Вуза, где не в чести была нравственность, обязательная для всех прочих. Серега отведал вседозволенности, ироничная усмешка все испытавшего человека не сходила с чувственных его губ. И перед официанткой, вставшей перед нашим столиком, он держался до неприличия снисходительно. Не заглядывая в меню, закинув руку за спинку стула, небрежно произнес:

- Лёлочка, как всегда, мне и моему другу, - при этом он показал обеими руками на меня.

Лёля посмотрела на меня долгим оценивающим взглядом, сказала:

- Очень приятно, - и почему-то вздохнула.

Лёля принесла, поставила перед нами тарелки с ломтями обжаренной свинины, пузырящейся маслом, щедро приправленной обжаренной картошкой. Я не удержался, сглотнул слюну от вида редкого блюда.

Усунув руки под белый передничек, Лёля-душечка жалостливо смотрела, как управлялись мы с едой «по ресторанному», вилка в левой руке, нож - в правой.

Провожая нас, она сказала, в явном желании задеть самолюбие Сереги:

- Приходите, Вовочка, еще. Рада буду вас видеть!

Я пришел.

Лёля обрадовалась, по-родственному усадила за столик, терпеливо, с мягкой улыбкой смотрела, как, смущаясь, краснея, я разглядываю меню. Выбрал самое дешевое - биточки. Лёля понимающе вздохнула, принесла, поставила передо мной памятную мне свиную отбивную. Я запротестовал. Лёля по-матерински погладила мою голову, успокоила:

- Кушайте, кушайте, Вовочка! - Сходила на кухню, принесла стакан компота. Подперев кулачком щеку, смотрела: ей как будто доставляло удовольствие смотреть, как люди едят.

- Теперь компотик выпейте, - попотчевала она. - С Сереженькой, вижу, вы друзья? - спросила она.

- Друзья, - с готовностью подтвердил я. И, чтобы доказать свое бескорыстие, добавил, - Сережка умный. И красивый.

- Красивый-то, красивый, - согласилась Лёля, в задумчивости поглаживая свои пальцы с гладкой красноватой кожей от постоянного соприкосновения с водой и посудой. - Да разве удержишь при себе такого? - она горестно вздохнула. Вы-то с маменькой-папенькой живете? Или один? - поинтересовалась она.



- Один! Как все. В общежитии, - ответил я, еще не догадываясь, что мой ответ может как-то повлиять на мою судьбу.

Доброе лицо Лёли с желтыми кудряшками, выбивающимися из-под накрахмаленного кокошника, озарилось улыбкой от моего простодушного признания.

- Очень рада, Вовочка, - сказала она ласково, накрыв мои пальцы теплой своей ладонью. - Нас, видно, сам Бог свел. Приходите еще. Мне приятно, когда вы приходите!..

## 2

Сергея признался в новом своем увлечении: его воображением завладела студенточка-певичка из Гнесинского института. Теперь вечерами он выстаивал у храма музыки в ожидании своей нимфы-певуны.

В театральную столовую он перестал ходить, столовался со своей избранницей в чистеньких кафешках или ресторанах.

Уютный зальчик с погрустневшей Лелей, я посещал теперь один.

Приходил после лекций, к концу смены, когда за столиками никого уже не было.

Лёля оживлялась, заботливо усаживала, приносила что-нибудь из вкусенького. Садилась напротив, привычно подперев кулачком щеку, смотрела сочувственно. Спрашивала: «Как там Сереженька?» - при этом подкрашенные ее губы сжимались в горестный узелок. Но в медлительном ее голосе уже улавливалась примиренность с отступничеством Сереги. И с каждым новым моим появлением в зальчике возрастало ее заботливое внимание ко мне. Постыдную мысль о том, что я пользуюсь ее добротой в каких-то корыстных интересах, я отвергал. Я не был нахлебником. То, что съедал, всегда честно оплачивал. И не сразу понял, что в уютный зальчик театральной столовой приведет меня не только потребность что-нибудь поесть. Мне было приятно, что Лёля встречает меня улыбкой. Обласкивающий ее возглас: "Вот и Вовочка пришел!", вызывал во мне ответное желание быть добрым и внимательным. Все дольше задерживался я за столиком, маленькими глотками цедил компот из стакана, смотрел, как Лёля, прибираясь, ходит по зальчику, привычно расставляет стулья, сметает щеткой крошки на поднос.

Плавные движения рук казались певучими, будто в самой Лёле все время звучала одна и та же ласковая песня, и руки ее работали под эту песню. Прибираясь, она поглядывала на меня, в её улыбчивых взглядах мне чудилось ожидание.

Как-то присев за столик, полюбовавшись на мой студенческий аппетит, Лёля положила свою теплую руку на мою руку, сказала:

- Вовочка, хочу пригласить тебя в гости. На пирог. – Добрый ее взгляд так располагал, пальцы так обещающе поглаживали мою руку, что отказаться было выше моих сил.

Лёля достала из кармашка записочку, вложила в мою руку.

- Здесь, Вовочка, мой адрес. - И рассказала подробно, как добраться до дома на Красной Пресне, где она жила.

### 3

После фронтовых землянок с сырыми глинистыми нарами, после мужского неуютта студенческого общежития, я оказался едва ли не в райских кущах. Чистота и белизна Лёлиной обители ослепили меня. И покрытый накрахмаленной скатертью стол посреди комнаты, и большой абажур из белого шелка, свисающий над столом, и светло-серебристые шторы от потолка до пола, прикрывающие оба окна, и кружевная накидка на комод со стадом белых фарфоровых слоников, и пышный белый бант на гитаре, висевшей на стене, и самый зримый предмет - просторная кровать с никелированными шарами, висившаяся в углу, как пароход у причала, аккуратно застеленная белоснежным покрывалом с многопалубным возвышением подушек - все слепило, как слепит при солнце чистый заснеженный лес. И среди этого белого царства снежной королевой гляделась сама Лёля, в белом платье с кружевным полукружьем на высокой груди. Платье плотно облегалo ее плотное тело, и Лёля время от времени обеими руками забавно оттягивала от боков стесняющий ее наряд.

Лёля не скрывала радости. Любопытствующую соседку, выглянувшую из своей двери в коридор, не удостоила даже словом. Приобняв за плечи, провела меня в комнату и, как только несколько потрясенный увиденным, я огляделся, тут же усадила за стол со словами:

- Пирог заждались, Вовочка. Устраивайся по-домашнему, буду тебя кормить!..

Обилием домашнего печева, выставленным на стол, по моим подсчетам можно было бы досыта накормить все наше студенческое общежитие. После щедрого куска пирога с капустой и трех пирожков с мясом я почувствовал, что мой не привыкший растягиваться желудок решительно запротестовал. И как Лёля ни уговаривала отведать кусочек сладкого пирога, я отяжелено качал головой и, тупо пялясь на Египетскую пирамиду из румяных, искусно испеченных пирожков, только вяло прихлебывал с ложечкой чай, густо заправленный вареньем. На добром лице Лёли с широким, будто слегка помятом, но тщательно припудренным носом, я видел нескрываемое огорчение, но поделаться с собой ничего не мог - последний проглоченный мной кусок стоял в горле.

Лицо Лёли догадливо озарилось:

- Вот, ведь, сразу не решилась. Надо попотчевать тебя водочкой!.. - Она сделала движение к комоду, на котором стояли слоники, но тут уже решительно я воспротивился - от водки никогда не испытывал удовольствия. Даже на фронте с трудом заставлял себя сделать глоток за погибших товарищей. Да и Лёля, и уют ее комнаты никак не вязались с одурманивающей грубостью вина.

Лёля смотрела не веря:

- Как же, Вовочка? Ты же солдатиком был? - вопрошала она в растерянности. - Мы, бабы, и то за войну всего напробовались!..

Я молча развел руками, давая понять, что ничего не смогу с собой поделать.

Лёля явно была в затруднении, видимо, я не вписывался в привычные ей нормы общения. В неутоленной заботе она беспокойно оглядывала меня. Вдруг всплеснула руками, быстро поднялась, принесла с комода маленькую подушечку, утыканную иголками, катушку с черными нитками, баночку с пуговицами.

- Ну-ка, Вовочка, снимай китель! - приказала она. - Надо же, надо же, ну, мужички, пуговицу пришить не могут!.. - выговаривала она, вдевая нитку в иголку и смущая замеченной в моей одежде небрежностью. Снимать черный морской китель, в котором бессменно ходил я по институтским аудиториям и коридорам, я отказался. Лёля мягкими движениями пальцев сама расстегнула китель, подобрала подходящую пуговицу, стала с видимым удовольствием пришивать.

- Прикуси язык! - предупредила строго. Смотри, ум пришью!

Закрепив пуговицу, привычно откусила нитку, сказала с какой-то наивной верой:

- Ну вот, я пришила тебя! - Не удержалась, погладила по голове.

В сознании моем была затаенная догадка, что пригласила меня Лёля не только на пироги. Но именно поэтому, что я догадывался об этой скрытой стороне возможных наших отношений, я держал себя в целомудрии, чтобы и намека не было на мужскую мою заинтересованность в нашем свидании. Лёля, видимо, чувствовала эту мою интеллигентскую установку и невольно сама старалась быть целомудренной.

Снова попробовала она вернуть меня к пирогам, повторить застолье, но откликнуться на ее щедрость я был просто не в состоянии, обоюдный разговор не складывался.

Тогда Лёля торжественно выложила на стол альбом, сплошь оклеенный вырезанными из открыток цветочками и птичками.

Разглядывать фотографии я любил. Внимательному взгляду многое открывается в лицах, в человеческом окружении, в самом фоне, на котором снимок делался.

Сидели мы рядышком, голова к голове, почти касались друг друга. Лёля перевортывала тяжелые страницы с приклеенными к ним фотографиями, поясняла. Воспоминания, видимо, были ей приятны, и мое любопытство по душе. Она ласково оглаживала фотографии, как будто изображения были живыми, поясняла:

- Вот это я, восьми годочков, - показывала она на туманный снимок, где на скамеечке под деревом, видимо, в московском дворике, сидела пухленькая коротышка с накинутой на лоб челочкой, в платье без рукавов. Обеими руками она держала на коленях большую куклу, тянулась к ней губами, и трудно было ошибиться в том, что девчущечка эта - Лёля.

- Вот, - скорбно вздохнула Лёля, - С тех самых пор мечталось ласкать своих детишков. Не дал Господь... А это - я уже в девушках! - Она открыла свою фотографию в паре с бравым командиром в гимнастерке, с тремя треугольниками на каждой петлице. Волосы Лёли были убраны под модный, в то время, берет. На беретке, сбоку, красовалась брошка-стрелка. Сияющие глаза Лёли, казалось, влажнели слезой ожидаемого счастья. А на юном лице командира в новенькой армейской фуражке застыло выражение готовности хоть сейчас идти в бой.

- Душевный, очень душевный был человек! - сказала Лёля, достала из обшлага платья платочек, промокнула глаза. - Не судьба. Все она, война-разлучница!..

- А это, - Лёля перевернула еще один лист картона. - Это Пал-Палыч, мастер нашего цеха. В войну я на Трехгорке работала. Это он меня из цеха в столовую устроил. Очень, очень душевный человек! - Лёля взглядом обласкала фотографию, из которой смотрелся плотный мужичок с крупной головой, посаженной казалось, прямо на крепкие плечи. Усы под внушительным носом растянутые заостренными концами почти до щек, не могли понравиться, не вызвал симпатии и настороженный взгляд маленьких глаз. Похоже, мастер этот был человеком себе на уме.

Лёля вняла деликатному моему молчанию. Ловко погладила карточку, произнесла с признательностью:

- Очень, ну очень душевный человек! Комнату мне выхлопотал. За этим вот столом сживал. За пироги нахваливал! Очень я переживала, когда узнала, что семья у него. Да, что поделаешь!.. Лёля снова достала платочек, промокнула повлажневшие ресницы.

- А это артист театра, Коленька! Правда красивый? - она открыто любовалась фотографией. Артист был молод, с зачесанными набок, плотно прижатыми к голове волосами, с впалыми щеками, тонким носом и лихорадочным взглядом круглых глаз. Всё вместе придавало его лицу какое-то птичье выражение. Подумалось, что Лёля, наверное, усиленно его кормила, но корм был явно не в коня.

Лёля взволновалась воспоминаниями, щеки зарумянились под мучнистым слоем пудры.

- Даже не сказать, какой душевный человек! - проговорила она и всхлипнула от жалости по прошедшему времени. - И такой мечтательный! На кровать ляжет, руки под голову, и таких чудес намечтает, сама себя забудешь! А на сцене, видел бы ты, Вовочка, как сражался он на шпагах - ну, настоящий мушкетер! На спектакле сижу, сердце замирает, как машет он саблей. И все побеждает!! Ума не приложу, зачем из театра уволился? Куда-то за Урал, в другой перевелся... - Лёля снова достала платочек. На этот раз не донесла до глаз, только осторожно промокнула нос.

От большого количества душевных людей у меня запестрело в глазах.

- Что-то душно у тебя, Лёлочка, - сказал я, отирая взмокший лоб и расстегивая верхние пуговицы кителя. - Нельзя ли форточку открыть?

- Что ты, что ты, Вовочка? Испугалась Лёля. - Тепло надо беречь. Вот, посмотри-ка, - Лёля перевернула сразу несколько страниц, и глянуло на меня с большой фотографии лицо Сереги. Смотрелся он во всем своем великолепии: по моде подстрижен, по моде одет, взгляд умных глаз чуть косил в сторону, в чувственных губах, где-то в самом уголке, таилась снисходительная усмешка все понимающего человека.

- Вот Сереженька наш, - сказала Лёля, вздохнув, - такой душевный, такой родненький! А вот, затосковал, закапризничал. Отлетел от гнездышка, соколик! - Лёля приложила платочек к одной щеке, к другой. В замедленных движениях ее рук было столько безысходной печали, добрые ее глаза смотрели на меня таким жалостливым взглядом, с такой тоской ожидания, что я не мог остаться безучастным: утешающе погладил теплую, всегда такую заботливую ее руку.

Лицо Лёли прояснело.

- Вовочка, - сказала она. - Тебе нравится у меня?

Я еще раз обвел взглядом снежно-белое комнатное царство, пироги на столе, пышную кровать в углу, посмотрел не без любования на саму Лёлю - чистенькую, добрую, не могущую, казалось жить без заботы о ком-то, сказал не лукавя!

- Хорошо у тебя, Лёлочка. Уютно!..

- Золотце ты мое, приходи сюда, как домой, - воскликнула Леля, - Как обрадовал ты меня, Вовочка!..

Теперь она гладила мою руку, глаза её благодарно, ласково, обещающе заглядывали в мою смущенную душу.

Всю последующую неделю многообещающей песенкой звучал во мне радостный возглас Лели: «Золотце ты мое! Приходи сюда, как домой!».

Песенка манила, и все невзрачнее казался неуют холостяцкой жизни. Как только кто-то из студенческой общаги начинал ворчать, ревниво вдыхая запахи кухоньки с единственной плитой, на которой девчачья половина ухитрялась варить борщи и жарить яичницу, песенка Лёли начинала звучать особенно зазывно, и нерешительность, с которой обдумывал я свое возможное будущее, уступала место готовности, тут же сесть в трамвай и отправиться на Пресню.

Но на следующий день, сидя в аудитории среди коллег-студентов, внимая назиданиям профессуры, снова впадал в нерешительность: чуть ли не кощунством казалось обособиться от студенческой братии, покинуть вечернее безлюдье аудиторий, где можно в одиночестве часами просиживать над книгами, соприкасаясь с мыслями умов великих, предпочитавших поиск истины ничтожности житейского благополучия. И все, что предполагал я оставить, вдруг обретало прежде не признаваемую пену, и самой высокой ценой обозначалась в моих раздумьях свобода распоряжаться своим временем.

И все же, Лёлин уголок светился, манил семейным уютом. И вот, в один из особенно тоскливых дней, в сомнениях, в колебаниях, под ироничные комментарии всезнающего Сереги, я собрал в фибровый чемоданчик свое скромное имущество, книги, записи, и, в проснувшемся вдруг благоразумии, не предупредив коменданта о своем отбытии, направился к уже знакомой мне трамвайной остановке.

Открыла входную дверь соседка Лёли по квартире. Улыбнулась многозначительно, пошла к себе, бормоча: «Господи, шестой жених. И все не в пору!».

Еще в коридорчике уловил я чуждый Лёлиной обители запах табачного дыма, но должного значения чуждому запаху не придал. Заранее улыбаясь, вошел.

Из глубины комнаты навстречу мне устремилась Лёля с восторженным возгласом:

- Вовочка! У меня такая радость: Коленька вернулся! Не ждала, не гадала, и такая вот радость! — Лёлины добрые глаза сияли счастьем, руки, всегда искавшие себе заботы, в радостной торопливости поправляли широко раскрытый на груди ворот платья. Её волосы всегда подзавитые, всегда аккуратно уложенные, беспорядочно спадали на лоб, на плечи.

Только теперь я увидел мужчину, лежащего на высокой кровати, прямо на покрывале, памятной мне девственной белизны. В глаза бросились его длинные ноги в зеленых носках, с темными пятнами подсохшего пота. Большой палец, почему-то с черным ногтем, вызывающе торчал из дырки, словно рыбацкий поплавок.

Мужчина курил, устремив равнодушный взгляд в потолок.

Мое появление не изменило его сосредоточенной позы. Человека, лежащего на кровати, я узнал по фотографии. Эго был тот самый артист, очень-очень душевный, который по-мушкетерски бился на шпагах, а потом исчез, где-то далеко за Уралом.

«Что ж, бывает!» - подумал я как-то беспредметно, еще не успев осмыслить положение, в котором оказался. Но глаза Лёли сияли такой неподдельной радостью, руки так молитвенно были прижаты к груди, голос с такой восторженностью обласкивал само имя «Коленька», что мне не оставалось ничего другого, как только оставить Лёлю наедине с ее счастьем.

Я возвращался к себе в общежитие. Вагон трамвая, почти пустой, пронизывало осенним холодком, дребезжали в окнах рамы, колеса как-то особенно безжалостно стучали на стыках рельс. Вагоновожатый, высвобождая трамваю путь, пронзительно звонил на перекрестках.

Взгляд мой скользил по освещенным окнам домов, по фигурам пешеходов, спешащих к своим, как мне казалось, сплошь уютным квартирам. С грустью я сознал свою отрешенность от домашнего тепла. Вспомнилось счастливое лицо Лёли, ее наполненный детским восторгом возглас: «Вовочка, у меня такая радость - Коленька вернулся!...»



И тут же наплыло другое видение: на белом покрывале вытянутые ноги артиста Коленьки в несвежих носках, торчащий из дырки палец, табачный дым, пепел на подушке. Я не мог совместить в сознании эти ноги и табачный дым с белоснежным уютом Лёлиной обители, с ее восторженным лицом, с ее счастливыми глазами, досадливо ворочался на жестком, подрагивающем сиденье. И только когда за тусклыми окнами вагона замелькали силуэты деревьев знакомого бульвара, оба видения вдруг слились, как родные, раздвинутые на какое-то время половинки. Горестно я усмехнулся, выходя из трамвая.

В общежитии, несмотря на поздний час, Серега лежал на своей койке с книгой в руках. Увидев меня, он с еще большим старанием углубился в чтение, а сам исподволь, с ухмылкой наблюдал, как возвращал я свое холостяцкое имущество в студенческую тумбочку. Когда я задвинул под кровать опустевший чемоданчик и молча лег, подсунув руки под голову, услышал, как философически он изрек:

- Нет, друг, Вовочка! В чужом гнезде своего не совьешь!..

Наверное, он, Серега, был прав...





С Аллочкой судьба моя соприкоснулась в горах южного Урала, на берегах великолепного озера, где когда-то прошла довоенная моя юность. А было так.

После окончания института и публикации в одном из столичных издательств первой моей повести, приехал я погостить к своим родителям на Урал. И отправились мы с давним моим приятелем на знакомое озеро порыбачить, отдохнуть, повспоминать. Но так уж случилось, что в домике, рядом с кордоном лесника, где остановились мы, оказались девчата из Саратовского Университета, проходившие в знаменитом заповеднике полевую практику, и надежды на вольное мужское одиночество сами собой рухнули. Трое девчат и полная медлительная дама, зорко надзиравшая их, вовлекли нас в свой женский мирок, и стали мы участниками всех их забот. Выловленных щук, окуней приносили к домику, девчонки радостно ахая и охая, потрошили их, варили на разведенном нами костерке общую уху. Потом пили чай, и начинались разговоры обо всем и вроде бы ни о чем - нас и девчат увлекала обоюдная потребность в общении.

О каких-то симпатиях, ухаживаниях не думалось. Да и девчата не проявляли стремления к более близким отношениям, просто быть вместе было интереснее.

Света, худенькая блондиночка с восторженно-детским выражением лица, привезла с собой гитару. По вечерам наигрывала и охотно пела. Тонкий, напряженный старанием, ее голос чисто звучал над сумеречным озером. Мы замолкали, слушая.

Другая девушка - Тамара, со скуластым лицом и узким калмыцким разрезом глаз, под дугами черных бровей, в разговор вступала редко. Распустив косу, накрыв плечи волной черных волос, она вытягивалась на траве, подсунув руки под подбородок, слушала, изредка произносила глуховатым голосом ироничную фразу, снова замолкала надолго - мысли ее были далеко, где-то в саратовских степях, и присутствие двух молодых мужчин ее не волновало.

Деятельная Аллочка выделялась среди подруг не только подчеркнутой независимостью, но и категоричностью суждений. Казалось, она уже продумала предстоящую ей жизнь, все решила, и теперь ждала, когда желаемое станет действительностью.

Как-то в вечернем разговоре о будущем, Аллочка высказалась так:

- У меня будет муж - летчик, большая квартира и много детей. Буду заниматься детьми, и встречать мужа из полетов!.. – Сказано это было с такой убежденностью, что никто не усомнился в возможности избранного ею будущего. С какой-то даже уважительностью я подумал, что не часто встретишь такое вот юное существо, которое уже знает, как будет жить.

Аллочка привлекала уютной домашностью, мягкими очертаниями лица и плеч, у нее были спокойные полные губы, очень живые внимательные темно-карие глаза. Даже в условиях полевого быта она до блеска очищала кастрюли и посуду, охотно готовила на всех еду, и при этом всегда выглядела чистенькой, аккуратной в одежде, даже успевала мыть в озерной воде темные, под стать глазам, волосы и красиво укладывать.

Мне тогда было под тридцать, Аллочке - девятнадцать. В ее годы я уже познал трагическую близость смерти, прошел через обнаженный быт фронтовой жизни. Из войны вышел не без нравственных и физических потерь: ходил, в общем-то, бодро, но не на своих ногах. И хотя бессемейная моя жизнь затянулась по причинам неясным для меня самого, я не мог и подумать об Аллочке, как о возможной своей невесте. Да и Аллочка, не выделяла меня, - я не был летчиком, и вообще, как мне казалось, далек был от ее идеала.

К тому же полная дама, надзиравшая весь образ жизни девчат-студенточек, оказалась не только преподавателем их ВУЗа, но и мамашей Аллочки. Как выяснилось, Аллочка была единственной дочкой, воспитывала она ее без отца, и теперь все ее заботы сосредотачивались на том, чтобы оградить Аллочку от преждевременных увлечений.

Наверное, в таком невинном общении и прошли бы наши дни на берегу озера, под медлительный шум сосен, - мы бы ловили рыбу, девчонки все так же ходили бы на полевую практику, закладывали площадки, высчитывали на них видовое количество трав и цветов, - если бы, однажды, в общем разговоре у вечернего костра, Аллочка не поинтересовалась писательским гонораром.

Я простодушно назвал довольно значительную, особенно для тех стабильных времен сумму, которую получил за изданную книгу. И заметил, как взгляд внимательных темных глаз остановился на мне. Аллочка смотрела напряженно, как будто вдруг увидела во мне другого человека, и этого другого человека теперь мысленно примеряла к той жизни, к которой готовила себя.

С этого дня Аллочка переменилась. Старалась подольше побыть у вечернего костра, оживлялась и внимательно слушала, когда по просьбе Тамары или Светы я рассказывал что-то из виденного и пережитого. За обедом, где полновластно распоряжалась Аллочка, в моей тарелке оказывались лучшие куски поджаренной щуки, в моей кружке неизменно краснела двойная порция собранной ею лесной земляники. Я пробовал протестовать, Аллочка ничуть не смутившись, ответила:

- Даже среди своих детей у меня будет любимчик!..

Как-то, возвращаясь с рыбалки, застал я Аллочку на озере. Свесив с мостков босые ноги, она отчищала песком сковороду. Я подогнал лодку к мосткам, повинился:

- Сегодня я - неудачник, - ни рыбешки!..

- Велика беда, завтра поймашь! - успокоила Аллочка. - Светка вон грибов насобирала!

Под моим взглядом она подобралась, усерднее стала чистить сковороду. Я смотрел на ловкие движения ее рук, на посмуглевшее от летнего загара лицо с поджатой от старания губой, на стопку уже отмытой, чистой посуды, и не мог не залюбоваться деятельной ее работой. Вспомнил свое холостяцкое жилье с шатким столиком в углу, электроплиткой, раскладушкой, с обедами в ближайшей столовой, и позавидовал счастливчику-летчику, у которого будет такая вот хозяйственная жена.

Аллочка как будто уловила мой сожалеющий взгляд, отвела со лба волосы, спросила:

- Когда на лодке покатаешь?..

Вздыхом, подавляя тоску по семейному своему неустройству, ответил шутливо:

- Когда прикажет ваша светлость!.. - Аллочка посмотрела внимательно, сказала:

- А вот прикажу. И скоро!..

Оказываемое мне внимание не прошло мимо Аллочкиной мамы. В один из дней, когда девчата ушли на полевую практику, а я сидел в холодке, разбирая спиннинговую катушку, она подошла ко мне с нескончаемым своим вязанием. На правах матери, заботящейся о судьбе дочери, стала, выпрашивать, где, как я живу, есть ли перспективы в моей работе, почему так затянулась моя бессемейная жизнь, и были ли у меня на фронте и в послевоенной жизни женщины. Под требовательным ее напором, я как-то даже растерялся, смущенно отвечал, стараясь быть деликатным и не отходить от правды. И не мог не почувствовать по характеру разговора, выражению ее лица, нервному движению пальцев, что прожитую мной жизнь она не одобряет, что комнатка в 14 квадратных метров в квартире-коммуналке, где я после окончания института проживал, не лучший вариант для обустройства семейной жизни, что перспективы литературной моей работы крайне зыбки, и заводить семью мне действительно рано.

- Я хотела бы предупредить вас, Володя, Аллочка воспитана в строгости и невинности. Вы меня понимаете? При ее излишней мечтательности, она может наделать глупостей.

Спицы в ее руках дрожали:

- Я давно наблюдаю за вами. Вы человек благородный. У вас опыт жизни. Я бы попросила, очень попросила. Не могли бы Вы, Володя, дать мне слово, что поможете уберечь Аллочку от самой себя?.. - Почти с мольбой смотрели на меня такие же темные, как у Аллочки глаза.

Оказанным доверием я был польщен и уверил Аллочкину маму и подтвердил это словом, хотя и бывшего, но офицера, что к Аллочке у меня не более чем дружеские чувства.

- Я очень надеюсь на Ваше благородство, Володя! - проговорила Аллочкина мама с видимым облегчением. Закрепила нитку, вынула из вязанья спицы, расправила на своей ладони крохотный, на детскую ножку носочек. Дала возможность издали полюбоваться трогательным изделием.

- Это для будущей Аллочкиной семьи! - пояснила она.

## 2

У Аллочки, однако, были свои соображения. За вечерним ужином она объявила:

- Завтра едем на тот берег озера. Площадки заложим там. Надеюсь, мужчины нас перевезут? - она вопросительно посмотрела на Лёничку, и внимательно на меня.

Аллочкина мама уронила вязанье на колени:

- Солнышко, это же опасно!.. - запротестовала она.

- Мамочка! Жизнь вся состоит из опасностей. Если бояться, лучше не жить! - Аллочка произнесла это с такой категоричностью, что никто не решился возразить. Ее нежные, наверное, еще не целованные губы самолюбиво поджались.

Лодка лесника, которой мы пользовались, явно не была рассчитана на пятерых. С низкими бортами, плоским дном, она легко кренилась и при неумелом обращении так же легко переворачивалась.

Но утро выдалось на удивление тихим. Ни морщинки на озерной глади, ни облачка в небе. Даже чайки без обычного крика спокойно облетали свои владения.

Двухкилометровый путь одолели благополучно, обогнули остров с молчаливыми соснами на обнаженных гранитных нагромождениях, пристали к пологому берегу.

Аллочка распорядилась: меня оставила в лодке, девчат и Леничку увела в лес. Я собрал спиннинг. Не успел сделать, несколько забросов, увидел Аллочку: с берега она наблюдала за моими рыбацкими стараниями.

- Я жду! - позвала она.

Мы плыли по курье, так на Урале называют узкие озерные заливы. Я неторопливо греб, Аллочка сидела на корме в неловкой напряженной позе, пальцы ее нервно поигрывали сорванной тростинкой.

Почему-то здесь, в уединении, пробудился у нее интерес к моей жизни. Она отрывисто выпрашивала где, как я живу, и что это такое - писательская работа? Я предпочел бы не разговаривать, просто любоваться великолепным днем, гладью вод, соснами на каменистых берегах, но, как и маму, терпеливо посвящал в подробности своего бытия.

- Все-таки, почему ты до сих пор один? - все так же отрывисто спрашивала она. - У тебя есть невеста?

- Была.

- Ну, и что? - в видимом напряжении Аллочка ждала. Я не знал, как объяснить, почему невеста не стала женой, ответил неопределенно:

- Хотела видеть во мне спортсмена.

- Она что, глупая была?

- Может быть, - засмеялся я.

Аллочка задумчиво покусывала кончик тростинки: в девчонке явно зрел дерзостный порыв. И точно. Я услышал требовательное:

- Можем мы где-нибудь остановиться? Хочу рядом посидеть!

Предупредить ее порыв я не успел: она вскочила. Лодка накренилась, черпанула низким бортом воды. Аллочка упала на сиденье.

Стараясь казаться спокойным, я молча вычерпывал воду. Аллочка с досадой сошвырнула с ног мокрые туфли, упрекнула:

- Все ты виноват!

Мы вернулись к острову. Я думал, прогулка наша на этом закончилась. Но Аллочка вдруг распрямилась, взглянула дерзко, с каким-то даже вызовом, сказала:

- Хочу искупаться! - Её руки уже ухватили край платья в желании раздеться, я остановил ее.

- Здесь нельзя. Глубоко...

- Ну что ты за человек! - чуть не в слезах воскликнула Аллочка. - Здесь нельзя, там нельзя! Где же можно?! А почему нельзя? Здесь мелко! Дно - вот оно! Каждый камушек видать! - Оскорбленное девичество бунтовало в ней.

Я нашарил в кармане монетку, оставшуюся от расчета за молоко, бросил в воду. Серебрушка, качаясь, посверкивая, тонула долго, пока, наконец, не легла на дно.

- Так глубоко?! - потрясенно выдохнула Аллочка. - Что же там, посреди озера?..

- Там, вообще, бездна! - успокоил я ее.

Не отрывая взгляда от воды, она задумчиво проговорила:

- Вот так и в жизни: плывешь и не знаешь, что под тобой бездна!

Рассудительность ее, меня тронула. Я знал песчаную косу на выходе из курьи, молча подплыл к мелководью, сказал:

- Купайся. Здесь можно.

Она в готовности сбросила платье. Решительно шагнула из лодки в воду. Я видел Аллочку во всем великолепии молодости. Как ни старался смотреть на небо, вдаль на горные хребты, все равно видел, как ласкала ее плечи голубая озерная вода, видел плавные взмахи золотисто-темных рук, видел в слепящем свете солнца радостный блеск ее глаз.

Ногами буровя воду, освещенная, возбужденная, она подошла к лодке, повернулась ко мне спиной, расстегнула, скинула мокрый лифчик, старательно выжала, просунула под лямки руки, сказала буднично:

- Сзади там пуговики. Застегни.

Пальцы не слушались, пуговики не застегивались, я делал все возможное, чтобы не прикоснуться к влажно-золотистой ее спине. Откинув голову с капельками воды в свисающих колечках волос, напряженно улыбаясь, она смотрела на меня поверх плеча.

Я едва сдерживал себя: еще одно зовущее движение, и нежные её губы вспухли бы от моих поцелуев!

С берега, из-за острова, донеслось:

- О-го-го! Ого!.. Алла, мы ждем!..



Аллочка повернулась, положила руки мне на плечи, прошептала:

- Ты ничего не понял, Володичка? Или ты все понял? - мокрой щекой она прижалась к моей щеке.

### 3

Пока мы рассаживались в лодке, протяжно, напористо, прошумело в мохнатых вершинах сосен. На Уральских озерах погода меняется вдруг: перевалит через хребет, скопившийся у подножья тяжелый ветер, и гладкая голубизна вод тут же взрябит, вспухнет перекатами волн, и озеро, протянувшееся между гор на многие километры, превращается в адскую кипень, в которой не устоять ни лодке, ни человеку.

Я правил напрямик к дому. Ветер напирал в бок. Волна шла быстрая, но мелкая, и была надежда, что пересечь открытое пространство мы успеем.

Туча надвинулась, озеро придавило хмарью, ветер лепил к телу рубашки, трепал волосы на головах девчат. Волна пошла круче, с силой ударяла в борт. Плыть вперед в перегруженной лодке мы уже не могли, не могли и вернуться назад. Оставалась рискованная, но единственная возможность пустить лодку по волне. Стихия разворачивала нас прочь от дома.

Я взглянул в безбрежность, куда нам предстояло плыть, сердце сжалось - там, вдали, темная, почти черная вода сплошь пенилась буграми.

- Лёня, поворачивай. Держи строго по волне, - тихо подсказал я, и помог развернуть лодку. Волна теперь догоняла, приподнимала и опускала корму, но не ударяла в бок.

Тамара со Светой притихли, вжали головы в плечи. Аллочка же с высокого переднего сиденья упоенно оглядывала пляску волн, с какой-то даже веселостью, отирала ладонью мокрое от брызг лицо. Бездны под собой она не чувствовала.

Лодку накренило. Властным голосом я крикнул:

- Алла! Быстро на дно. Сидеть!.. Не двигаться!..

Мы были близки к гибели. Волны, обгоняя лодку, с угрожающим шелестом проносились у самой кромки борта. Распашные весла то зарывались в волну, то повисали в пустоте, только мешали уводить лодку от удара в бок.

- Леня! Убирай весла! На кормовике пойдем! — перекрывая шум бури, кричал я.

До жути я ясно представлял, что произойдет, когда одна из волн всей своей тяжестью придавит нас. Девчата закричат, вскочат, и - все, это - уже конец. Плоскодонная лодка опрокинется, все мы забарахтаемся в воде. Стихия никого не пощадит. Я не смогу помочь даже Аллочке: меня первого утянут в глубину тяжелые, не мои ноги.

Едва теплившаяся надежда дотянуть до темнеющего впереди скалистого мыса заставляла двигать веслом, уводить занемелыми от напряжения руками лодку от последнего, губительного удара. Не знаю, опыт ли многих в прошлом преодоленных бурь, или, сквозь отчаянье, просто улыбнулось нам счастье, но спасительного скалистого мыса с гудящим на ветру лесом мы достигли, укрылись от волн за каменной его грудью.

Какое-то время сидели, не двигаясь, в полном молчании, лодку покачивало, дощатым бортом она успокоительно терлась о береговые камни.

Леничка нагнулся вычерпывать воду, девчата отжимали мокрые платья. Я был не в силах произнести даже слова.

#### 4

На береговой тверди мы с Аллочкой остались одни. Леничка с Тamarой и Светой уплыли в облегченной от воды и лишних пассажиров лодке вдоль берега к кордону. Он должен был отвезти девчат, возвратиться за нами. Так распорядилась Аллочка. Вступив на берег, она словно забыла о буре, была возбуждена, деятельна.

- Володичка! У нас целый час! - сказала она и нетерпеливо потянула меня вверх, на кручу. Среди огромных валунов, под шелестящими лиственницами, отыскала впадину, забитую мягкой опавшей хвоей. Усадила меня, легла рядом, возбужденно схватила руками мою шею, с какой-то отчаянностью, выдохнула:

- Ну, теперь целуй меня!..

Невинность жаждала лишить себя невинности!

Сумасбродный порыв девичества меня смутил. Я был еще там, среди волн, мне все еще чудилась перевернутая лодка, зовущие взмахи девичьих рук, и головы, головы, с раскинутыми по воде волосами, уходящие одна за другой в бездну...

- Ну, что же ты! Что ты! - торопила Аллочка, суматошно тыкаясь губами в мои одеревенелые губы, щеки, лоб, все крепче прижимая к себе. Я чувствовал дрожь ее рук и не чувствовал своего тела.

Я освободил себя из Аллочкиных объятий.

Прислонившись к валуну, мы долго пребывали в обоюдном молчании. Наконец снова услышал ровный шум ветра в мягких лиственничных кронах, спина уловила тепло камня, еще не остывшего от жары полуденного солнца. Я открыл глаза.

Аллочка сидела рядом, упрятав лицо в подогнутые колени. Мокрое платье липло к спине. Ветер доставал сюда, холодил, стараясь согреться, она ладонями прикрывала плечи. В поникшей ее позе со спутанными на лбу, на щеках, волосами была такая покорность ко всему, что случилось и не случилось, что, охваченный жалостью, я осторожно привлек ее к себе. С детской доверчивостью она прижалась к моему плечу, прикрыть ее было нечем - кроме мокрой рубашки на мне ничего не было. Я повернулся спиной к ветру, уложил Аллочку к себе на колени.

Только теперь, бережно обнимая, сознал я девичью ее самоотреченность. Готовность отдать себя, обручиться со мной здесь, при молчаливом благословении Уральских гор, перевернули мои чувства. С нежностью, незнаемой до этого часа, согревал я своими губами ее прохладные, приоткрытые в трогательном ожидании губы, с вдруг пробудившейся ревностью, твердил: "Нет, милая девчущечка, никакому летчику я тебя не отдам... Ты будешь со мной. И только со мной..."

Аллочка высвободила руку, ласково гладила мою щеку, шептала, с прощающим упреком:

- Я так хотела нашей близости! Когда мы будем вместе, мы...

Мы, наверное, познали бы близость, здесь, в уединении, под мягкий шум уральских лиственниц, если бы умная мамочка не догадалась доверить доченьку моему мужскому благородству. Даже целуя, я помнил, что должен уберечь Аллочку от нее самой.

Внизу слышался плеск весел, приплыл Ленечка. Когда мы устроились в лодке, на одном сиденье, и Аллочка прижалась, приобняв меня, я увидел даже в сумерках наступившего вечера, как Ленечка понимающе усмехнулся.

Нет, он понял далеко не все.

Размеренно работая веслами, предупредил:

- Мамаша твоя, Алка, места не находит!..

На что Аллочка, еще теснее прижавшись ко мне, ответила:

- Ну и пусть...

## 5

На базу возвратились все вместе. Саратовские, гости разместились в одной из комнат дома, предназначенного для приезжих, я отправился к своим родителям. Провожая, Аллочка шепнула:

- Приходи утром. Буду ждать!..

Встретила она меня в легком домашнем халатике, волосы накручены на бигуди, голова повязана чистой марлевой косынкой.

- Не удивляйся моему домашнему виду, - предупредила она, озабоченно ощупывая голову. - Представь: ты неожиданно возвратился из полета. И мы не виделись целую вечность! - она прижалась ко мне, порывисто поцеловала.

В комнате прибрано. Вымытый пол влажно поблескивает. На столе в баночке, малиновые соцветья кипрея. Рядом чайник, две чашки, блюдечко с конфетами. Окна распахнуты, от свежего ветра парусят занавески. Все в ожидании.

Аллочка усадила меня на кровать, встала передо мной, руки положила на плечи. Пальцами, перебирая мои волосы, спросила осторожно:

- Ты хочешь чего-нибудь? - Ждала, притаив дыхание. Я прижался лицом к ее груди, услышал пугливый стукоток ее сердца.

- Ал, - сказал глухо. - Ты же завтра уезжаешь!..

- Ну, и что? Мы же все равно будем вместе!

Ох, как доступно было это юное существо, все уже решившее за себя и за меня. Но я знал: завтра она уедет, мы расстанемся на какое-то, может быть, немалое время. Невозможным казалось мне вот так, бездумно, грубо, ворваться в ее судьбу.

- Ал, все будет, когда ты приедешь ко мне. Когда приедешь, - повторял я. - А сейчас... Ты же хотела угостить чаем?

Я не видел Аллочкиных глаз, но чувствовал, как расслабилась она, сжала ладонями мою голову, поцеловала в лоб.

- Ты хороший, Володичка! Я очень люблю тебя... - Вздохнула облегченно, сказала деловито:

- Садись за стол. Я все уже приготовила! - Подошла к зеркалу, быстро раскрутила бигуди, уложила волосы в красивую прическу.

За чаем Аллочка ухаживала за мной уж точно, как стосковавшаяся в разлуке жена, даже конфету поспешила развернуть, любовно пододвинула к моей чашке. Заговорила, как будто от привычной семейной озабоченности:

- Володичка, нам надо подумать, как все у нас будет. Ты знаешь, я хочу много детишек. Не меньше пяти!..

- О!..- конфета застряла у меня в горле.

- Да-да, не меньше пяти! - подтвердила Аллочка. - Учебу я оставляю. Ты будешь работать, писать. Я буду женой, хозяйкой и матерью твоих детей. Если я перееду к тебе, мы обязаны подумать и о мамочке. Одну я не могу ее оставить. К тому же, детям нужна бабушка!.. Володичка, я не знаю твоего вкуса, но когда у нас будет большая квартира, непременно оклеим стены, знаешь, такими вот особыми обоями: в голубой фон и золотые розочки, розочки, розочки...

Аллочка обрушивала на меня житейские проблемы, одну за другой.

Заботы предстоящей семейной жизни ее разволновали, она покраснелась, одухотворенная нетерпением сделать все так, как представлялось в девичьих мечтах, в черных, как августовская ночь, глазах казалось, сверкали звезды! Я слушал, я любовался Аллочкой! И мысленно уповал на мудрость самой жизни, всегда все расставляющей по своим местам.

Ясным виделось лишь ближайшее будущее: я возвращаюсь к себе, в Самару, определяюсь во всех своих делах, где-то в начале октября сажусь на паром и приезжаю за Аллочкой в Саратов.

Провожая меня, Аллочка призналась:

- Мамочка до невозможности раздражена! С тобой мы лучше простимся сегодня.

Она долго целовала меня, как будто хотела нацеловаться за весь месяц разлуки. Целуя, говорила:

- Люблю... Люблю... Тебе будет хорошо со мной!.. Вдруг что-то надломилась в ней, она всхлипнула:

- Володичка, - сказала жалобно, - Мы не можем сразу поехать к тебе? Ну, увези меня! Увези!.. - Глаза ее были полны слез.

Растерянно я вытирал мокрые ее щеки. Понимал, мамаша Аллочки костями ляжет, но не допустит подобного безрассудства. Здесь нужно время и время.

Успокоил я Аллочку только так, как успокаивают рыдающую девочку, взял ее руки в свои, сказал:

- Видишь? У тебя десять пальцев. Загибаем: раз, два... десять. Еще раз десять и еще десять! Не успеешь загнуть, пересчитать, я за тобой и приеду!..

- Ты со мной, как с ребеночком - улыбнулась Аллочка сквозь слезы.

- Ты и есть ребеночек, - сказал я, целуя мокрые ее щеки. - Бунтуешь и боишься отпустить мамочкину руку!..

## 6

В Самаре я деятельно готовился к предстоящим в моей жизни переменам. На первое время прикупил диван-кровать, два стула. Долго, с любопытством, разглядывал детскую колясочку, но решил, что колясочкой займется сама Аллочка.

Принял должность, на которую прочили меня еще с институтских времен, - всплески гонорарных доходов не казались прочной основой для семенной жизни. Обговорил перевод Аллочки на учебу в один из местных ВУЗов. Даже выяснил вполне осуществимую возможность преподавательский работы для Аллочкиной матери. Это был мой сюрприз. Сюрпризом было, и твердое обещание начальства предоставить мне отдельную квартиру с учетом моего военного прошлого, должностного настоящего и семейного будущего.

Словом, в Саратов я готовился прибыть с вполне обоснованными надеждами на полное взаимопонимание.

Октябрь подошел. Билет в кармане. Чемоданчик уложен. Последнюю ночь перед отплытием я лежал без сна, глядя на окно с отблесками уличных фонарей, вслушивался в протяжные, мне казалось, зовущие гудки пароходов.

А утром вручили мне телеграмму. Развернул почтовый бланк Взгляд выхватил три оглушивших меня слова, только три, без подписи, без объяснений: "Саратов не приезжайте".

Слова были необъяснимы и жестоки.

Я вынул из кармана билет на теплоход, который должен был доставить меня в Саратов, медленно, с еще не понятым чувством освобождения, разорвал.





Она сидела у одинокого осокоря, на каменистом берегу. Она ждала. За Волгой во всю ширь заречной стороны, по-вечернему, грустно светлело небо, из чуть притуманенной его голубизны уже проглянула звезда. На бакенах, и на шумно проплывающих мимо самоходках светили сигнальные огни, а Он, которого она ждала, все где-то плыл в сгущающихся сумерках августовской ночи. Он сказал: жди у одинокого осокоря. И она ждала.

По глади Волги, еще отсвечивающей затухающей зарей, проносились, гудя моторами, лодки - вверх, вниз, к дальнему берегу в затон, за темнеющую песчаную косу. А той, единственной на всей Волге, ожидаемой лодки, которая должна была, вздымая волну, ткнуться в берег, у заметного даже в темноте осокоря, все не было.

Лодка должна была быть, не могла не быть. Если Он сказал: буду, значит, Она должна ждать.

Ночью у воды прохладно. Она не позаботилась надеть что-то потеплее. Собиралась в радостном нетерпении увидеть, согреться теплом его рук. И легкое без рукавов платье, в котором он любил её видеть и встречать, теперь, в наступившей уже ночи, не укрывало от прохлады, и только ожидание, что вот-вот из темноты вынырнет и с крутым разворотом ткнется в берег знакомая лодка, сдерживало знобящее подрагивание плеч.



Её заботы - узелок с кастрюлей, в которой сложены были пирожки, которые так любовно готовила она дома к этому часу. Для нее было великой радостью увидеть, как с веселым блеском в глазах, Он будет есть её пирожки. Она приложила ладошку к кастрюле, расстроилась: бока кастрюли едва отозвались теплом на ее прикосновение. Стянув косыночку с шеи, прикутала косыночкой узелок - холодные пирожки не так вкусны, а ей хотелось увидеть его благодарную улыбку!

Волга трудилась и ночью. Давно погасла заря, звезды повысыпали на темное небо, а по темной воде с шумом, плеском, гудением, все шли, сменяя друг друга самоходки, буксиры с баржами, теплоходы с ярко освещенными палубами, с желтыми огнями на высоких мачтах. Когда такой пароход, освещенный, как городской трамвай, шел по Волге вверх, Она мысленно перекидывала себя на его палубу, до боли в глазах вглядывалась в темную речную дорогу, плыла туда, к Жигулёвским горам, где был Он, с постоянными своими делами, откуда должен был приплыть к ней в этот день, в назначенный им час. Чем глубже уходило в ночь все вокруг, тем тревожнее становилось. Постоянно преследующая её злая сила могла появиться на пустынном берегу, чтобы не дать ей дожидаться того, кого так преданно Она ждала.

Она пугливо замирала, когда из темноты вдруг доносилось похрустывание камней под ногами идущего человека, прижималась к осокорю, нащупывала рукой камень. Она готова была отстоять свое право на любовь и свободу, от любого, кто задумал бы ей помешать.

Чем ближе к утру подвигалось время, тем тягостнее становилось одиночество и тревожнее мысли. Она уверовала: если он что-то сказал, ничто не могло изменить сказанного им слова, ни люди, ни бури, ни житейские беды. Так почему, почему его нет?!

Зябко поеживаясь, поникло возвращалась Она к дому, когда небо со стороны города уже просвечивалось солнцем. Навстречу, по уличному склону, весело поблескивая стеклами, бежали к речному вокзалу троллейбусы, торопились пешеходы с озабоченными лицами, дворник метлой сметал с тротуара рано опавшие листья. А Она, придерживая в руке узелок с кастрюлькой, в которой нетронутно лежали совсем остывшие пирожки, печально и бездумно шла по знакомой с детства улице к полуподвальной своей комнатке, где никто её не ждал.

Дома Она разогрела на электрической плитке пирожки, уложила снова в кастрюльку, укутала бумагой, все запихнула в сетчатую авоську, и пошла к трамвайной остановке. Трамвай довез её до окраины города, где среди зелени садов располагался летний детский садик. Здесь, среди многих других детишек, набирал силенки на зиму ее пятилетний сыночек. Пристроились они у забора, на травке, под вишнями с ещё не убранными плодами. Она кормила сыночка пирожками, приговаривая: «Кушай, кровиночка, кушай!». Сыночек, с удовольствием уплетая пирожки, вдруг перестал жевать.

- Мамочка, почему ты плачешь?! - закричал он. Она быстро вытерла глаза, щеки, виновато улыбаясь, спросила:

- Если я тебе вишенку сорву, нас не заругают?

- Заругают, - серьезно ответил сыночек, - Это - для всех.

- Ну, ладно, ладно. Для всех, так для всех. - Сказала Она и горестно прижала его к себе.

## 2

Тот, кого Она ждала, был в её глазах человеком необыкновенным. Она почувствовала это, когда стеснительно, робко, как девочка, заняла место бухгалтера-секретаря в этом странном учреждении, куда приходили говорливые, всегда чем-то возбужденные посетители, чтобы поспорить, что-то доказать, что-то потребовать! Он, который по должности был её начальником, терпеливо разговаривал с этими странными, шумливыми людьми, порой сам горячился, но тут же сдерживал себя, начинал говорить тихо, убеждая, и забавно было смотреть, как всегда чем-то недовольные люди уходили от его стола с успокоенными лицами, даже напевая что-то себе под нос.

Она почувствовала, как нелегко ему с этими людьми. Занимаясь своими бумагами, расчётами, с любопытством поглядывала в дальний конец комнаты, где сидел Он, прислушивалась к разговорам, по-женски сочувствовала непонятной его обязанности всех выслушивать, мирить, успокаивать, за каждого где-то, перед кем-то хлопотать.

И все-таки, даже в этих повторяющихся буднях, виделся Он ей человеком необыкновенным. Ей было приятно, когда кто-то одобрительно отзывался о нем. Нравилось его умение говорить даже с самым раздраженным посетителем.

Нравилась его серьезность, его улыбка, звонкость его смеха, когда доводилось ему услышать что-то смешное. Она не позволяла себе и думать, что этот высокий, красивый, умный человек когда-нибудь может войти в ее судьбу. Просто он был в невеселой её жизни, как солнечный лучик в темной комнате - грустно, а не можешь не улыбнуться. И на работу Она ходила теперь с каким-то светлым ожиданием радости.

Но вся необыкновенность этого человека открылась ей чуть позже, когда узнала Она о дерзновенном его поступке, о котором заговорили все - кто с удивлением, кто с осуждением, кто с завистью, кто с пренебрежением; кто-то из вечно ворчливых даже пробормотал: "Молодость славы захотела...".

А задумал Он, "сотоварищи", действительно необычное дело. Там, где Волга огибает горы, где издавна высился Атаманов Утёс и добывали строительный камень, взрывом отсекали вместе с растущим там лесом половину знаменитой скалы. Обнажилась стена Утеса, гладкая, как зеркало. И задумал Он на этом огромном каменном зеркале написать несмываемыми красками портрет Стеньки Разина, именем которого назван, был народной молвой этот Утес.

С двумя молодыми художниками уплывали они на лодках в горы, на канатах повисали над скалами и расписывали скалу с одержимостью первопроходцев.

Она и восхищалась и переживала за Него. Представляла, как высоко, где летают только птицы, висит Он на канате, а под ним скалы и пропасть, и люди там, внизу, кажутся маленькими как муравьишки, и все в ней холодело, и мурашки бежали по спине.

А Он приезжал оттуда, от гор, возбужденный, потирал руки, как потирают их от мороза или хорошей работы, говорил: "Дело идет, идет!".

Однажды, не сдержав своих переживаний, Она спросила:

- Зачем Вам это надо? Это же так опасно!..

Он посмотрел внимательно, с каким-то даже удивлением, сказал серьезно:

- Степан бился за народную волю. Об этом надо напомнить людям. К тому же, каждый человек в своей жизни должен осуществить хотя бы одну идею.

Таким был Он, которого Она ждала там, в ночи, на берегу Волги.

Но был Он и другим, совсем другим, когда пустела людная, шумная их комната и оставались они одни. Она подносила ему на подпись отчеты, счета, чеки. Он взглядывал на нее веселым взглядом, быстрым движением брал из её рук бумаги. Пальцы его, как будто случайно, касались её пальцев, волнующая струйка тепла пробегала по ее руке. А Он, как будто не замечая пылающих её щек, блеска испуганных глаз, клонил к бумагам голову с копной непослушных, спадающих на лоб волос, подписывал, передавал ей и почему-то при этом хмурился.

В смятении Она уходила к своему столу, не понимая, случайно ли его пальцы коснулись её пальцев или ему хотелось, и Он не мог удержаться, чтобы не прикоснуться к её руке? Она часто ловила на себе его взгляд, оттуда, из конца комнаты, где сидел Он за своим столом, разговаривая с людьми.

И когда люди уходили, и они оставались одни, каждый за своим столом, Он, подперев голову рукой, смотрел на неё в задумчивости, как будто старался что-то в ней разглядеть. И под его взглядом Она опускала глаза, начинала бессмысленно чертить пером по бумаге.

Однажды, в такой вот безлюдный час, Он достал из ящика стола лист плотной бумаги, стал быстро, поглядывая на неё, что-то набрасывать фломастерами.

Какое-то время вглядывался в то, что было им нарисовано, что-то поправлял, потом встал, подошел, положил перед ней рисунок, тут же, быстро попрощавшись, ушел.

Какой всплеск чувств опалил её, когда увидела на листе бумаги свою головку, Она не решилась поведать даже самой близкой своей подружке. Какой-то тайный смысл был в рисунке, и, боясь тому поверить, Она уловила этот тайный смысл. Головка была совершенно похожа на головку, которую видела Она, заглядывая в зеркало. Но никогда не видела такого выражения своих глаз. В глазах было какое-то уже застылое страдание, и, в то же время, из бездонности темных, почти черных её глаз невысказанно проглядывало робкое ожидание.

И зачем-то подчеркнуто резко были обозначены её губы, как будто нарочито, с усилием сжатые. "Что же он хочет? Хочет, чтобы я первая разомкнула их?", - думала Она в смятении.

Долго, в глупой мечтательности, просидела Она за столом, разглядывая свою головку, с буднично-скромной прической и скорбно нависшим над бровью завитком волос.

Дома, с замиранием сердца, ожидала завтрашнего дня. День наступил. И ничего не случилось. Много пришло посетителей. И как всегда Он был деятелен, возбужден, больше чем нужно говорил с каждым, и лишь изредка, как-то совсем неласково взглядывал на нее.

К концу дня, когда все, наконец, ушли. Он, хмурясь, углубился в какие-то свои записи.

И только когда, напрасно прождав его слова, хотя бы улыбки, Она, все аккуратно прибрав на столе, спросила с неудержанной обидой.

- Я больше не нужна? - и направилась за шкаф, которым отгорожена, была у них маленькая раздевалка. Он словно очнулся из делового забытья. Быстро поднялся, подошел, успел перехватить ее пальтишко, распахнул, и, помогая надеть, бережно, почти неуловимо сжал её плечи. Она порывисто обернулась, но Он уже отступил, смущённо потирая лоб: "Сегодня какой-то суматошный день!".

С этого дня неуловимо чувственная игра за шкафом, в раздевалке, стала для них необходимостью. Он все так же спешил подать ей пальто, все так же бережно, почти неуловимо сжимая её плечи, и все так же, когда Она быстро поворачивалась, отступал, сдержанно прощался.

Она не понимала. Он как будто тянулся к ней, и тут же словно намертво окутывал себя цепью. Ни разу не вызвался проводить, хотя бы до дома. И только однажды, случайно встретив на улице, когда торопилась Она в садик за сыночком, пошел с ней рядом. Что у неё сыночек, Он знал. Но когда сказала Она, что второй уже год живет одна, без мужа Он, как будто окаменев, долго молча шел рядом, склонив голов, потом проговорил с укоризной:

- И ты молчала?!

Поздно вечером, уложив сыночка, Она написала в своем домашнем «Дневничке»: «Сегодня, в первый раз Он сказал мне "ты". И спросил, зачем я выходила замуж, если так скоро от мужа ушла? Я ответила:

- Глупая была! Не сказала, что мешала матери и отчиму, и они сбросили меня на первого попавшего парня. А без любви я жить не хотела. Но Он все понял. Он все понимает, когда даже молчишь. Прощаясь, Он так посмотрел на меня и на сыночка, что я едва удержалась, - чтобы не прижаться к нему как к родному...»

После ночи ожидания Она сидела на работе, как неживая. Бесцельно перебирала бумажки, как-то сразу потерявшие свою нужность. Его не было, стол в конце комнаты был пуст. И люди приходившие, его спрашивающие, недовольно пожимали плечами, уходили, ворча. Чем могла Она успокоить этих нетерпеливых ворчливых людей. Не могла же сказать, что сама ждала его всю ночь на берегу Волги, ждет и теперь. Но его нет, всё нет...

«Там Он, в горах. Он в командировке, - твердила Она, должен быть, должен...»...

Отправляясь в горы, Он попросил проводить его до лодки, на которой ездил расписывать историческую скалу. Провожала Она, радуясь, что впервые попросил Он её помочь, и в то же время, до невозможности тревожась за него.

- Может больше не надо Вам ездить? - робко проговорила Она.

Он посмотрел задумчиво вдаль Волги, сказал:

- Нет, Утёс имеет имя. Теперь он обретет лицо. - Так сказал Он. Уложил свой походный груз в лодку, встал перед ней, высокий, сильный, надежный, как скала, которую расписывал, сильными ладонями охватил её щеки, поцеловал в губы.

Она едва не задохнулась от его поцелуя, - так неожидан, горяч и нежен он был.

- Видишь вон тот одинокий осокорь на берегу? - спросил Он. - Через день, на закате солнца, жди меня под этим осокорем. И знай, моя хорошая, обстоятельства могут задержать меня, но остановить - никогда!.. Он уехал. Её сердце уехало вместе с ним.

К закату солнца Она снова пришла к одинокому осокорю. На этот раз оделась, потеплей, и вновь напеченные пирожки надежней укутала в той же кастрюльке.

Все так же, помня его слова, провела в терпеливом ожидании ночь, с рассветом вернулась домой. Весь день всё валилось у неё из рук.

Пришла Она к одинокому осокорю и к концу третьего дня. И так же, помня его слова, ждала, провожала тоскующим взглядом снующие по беспокойной ветреной Волге чужие лодки и проплывающие мимо шумные, освещенные огнями пароходы.

Где-то среди ночи, Она измученно притулилась к стволу осокоря, задремала под ветровой шум. Не услышала, как знакомая лодка со знакомым высоким носом, ткнулась рядом с ней в берег.

Из лодки выскочил Он, поднял её, сонную на руки, прижал к себе так крепко, что Она ойкнула от испуга и радости.

- Знал, что ждешь, и спешил, очень спешил! - говорил Он, ласково, целуя сонные её глаза. Он кружился с ней на руках.

- Кто-то хотел, чтобы я не вернулся я тебе... Но я вернулся, моя хорошая, но я знаю, знаю, что та женщина, которая умеет, как ты ждать, всегда будет любимой! Навсегда!

Он на руках внес её в лодку, бережно опустил на сиденье. Она словно очнулась от счастливой забывчивости, спросила встревожено:

- Все эти ночи так было тоскливо, у тебя, что-то случилось? Почему так долго тебя не было?..

- Прости, моя хорошая, меня задержали обстоятельства, - ответил уклончиво. Взял весло, принаравливаясь оттолкнуть от берега лодку. Она задержала его руку, усадила рядышком. Деловито раскутала кастрюльку, выложила на чистую тряпицу пирожки.

- Ты же голоден! Поешь!.. - С обретенной радостью смотрела, как Он ест пирожок за пирожком. И тут же по-женски огорчалась: - Остыли вот, но я так старалась...

Они вели себя, как будто ничего не случилось, как будто не было тех трех дней разлуки. Он улыбался усталой улыбкой. В свете звезд и зареве отсвета огней ночного города, она разглядела беспокойный его взгляд, осунувшееся лицо и, с нарастающей тревогой, догадалась, что у Него там, в горах, случилось что-то очень страшное.

Когда в очередной раз, Он тяжело задумался, держа в руке последний, ещё не доеденный пирожок, Она осторожно сказала:

- Ты можешь сказать, о чем думаешь? Ты вернулся, а мысли твои далеко...

Он долго молчал, как будто не хотел растревоживать женщину чисто мужскими заботами, сказал, хмурясь:

- Кому-то очень не хотелось, чтобы скала обрела лицо.

- Скажи, что же все-таки случилось?..

- Понимаешь, расписывал скалу, а сверху на лебедку упало дерево. Подъемник заклинило. Пришлось на канатах висеть ночь и еще полдня. Кто-то подрубил дерево с очень точным расчетом...

Она похолодела. Бродящая вокруг неё злая сила добралась и к нему, в горы. Она не сомневалась, кто поднял руку на её любовь. Молча прижалась к нему.

- Замерзла? Вся дрожишь! - заботливо охватил её плечи своей теплой рукой. - Но работу закончили, утром увидишь! Он укрыл её своей курткой, оттолкнул лодку от берега, включил мотор, и лодка, расплескивая волны, понеслась в беспокойную тьму ночи, и светящийся на коротенькой мачте огонек, как будто бежал впереди, обозначая им дорогу.

Где-то напротив темнеющей громады гор, Он провел лодку узким проходом между островами, в отгороженном лесом затишке, приткнул лодку к песчаной косе, сказал:

- Отсюда на восходе солнца увидим нашу скалу. А пока... - Он близко заглянул ей в глаза. Она обняла его, поцеловала в губы. Он расстелил по дну лодки одеяло, нашлась даже маленькая подушка. Они легли рядышком. Тела их сплелись, и дыхание смешалось...

## 5

Она поднялась первой. Стесняясь своих растрепанных волос, кое-как привела их в порядок, перегнувшись через борт, умыла лицо. Внимательно всмотрелась в свое отражение в неподвижной воде, улыбнулась сама себе.

Он спал, прижавшись щекой и носом к подушке. Спал, успокоено, непробудно, наверное, впервые за все последние три дня.

Она осторожно присела на корме, взглянула на горы и увидела тот самый, ЕГО Утес. Освещенный утренним солнцем, Утёс высился, среди плотной мохнатости поросших лесом склонов, как обнаженная рана. И где-то из верхней трети его, смотрел на Волгу Разин Степан в своей казацкой островерхой шапке.



Крупное лицо его было гневливо, взгляд остр и осуждающ, вытянутая перед грудью рука с полусогнутыми пальцами, как будто невероятным напряжением приподнимала невидимую тяжесть.

Взгляд Степана обжигал, хотелось отвести глаза, но властная сила взгляда, оттуда с высоты скалы, заставляла смотреть и смотреть с каким-то неясным беспокойством.

В это время Он поднял с подушки, еще сонную голову, взглянул улыбочиво, подвинулся к ней, взял её руку, благодарно поцеловал.

- Ну, как наш Степан? - спросил с ноткой ревнивого ожидания.

- Не думала, что такое возможно...

- И что ты чувствуешь?..

- Ой, трудно сказать! - смутилась Она. - Мне кажется, - может это только мне кажется, он, как будто спрашивает: что же это вы, люди?!

- Умница, какая же ты умница! Он укоряет. Бунтарская его воля не терпит безмолвствующего народа! Хотелось бы, чтобы каждый, кто проплывет по Волге мимо этого Утёса, унёс в безмолвствующей своей душе, хотя бы частицу беспокойства!..

Она обняла его голову, нагнулась поцеловать и замерла: в густых его волосах увидела седину. Едва сдержав слезы, прижалась щекой к побелевшей прядке, услышала, как глухо, словно через силу, он сказал:

- Когда висел на канатах над скалами, меня убивало бессилие. Больше всего я тревожился о тебе. Одна. В ночи. На берегу. Из тьмы мысленно кричал тебе: "Я жив! Жди!..".

Она, пряча лицо в его волосах, тихо проговорила:

- Я слышала... И ждала...

Они возвращались в город. Лодка несла их по утренней глади сонной реки, мимо гор, песчаных, еще безмолвных кос, береговых крутояров, поросших высоким лесом. Само движение по срединному фарватеру радостно возбуждало чувства преодолением раскинувшегося впереди простора, и неразлучимость их, сидящих рядом, казалось Ей и Ему отныне вечной.

Но вот за поворотом показались дома, заводские трубы, как будто вытянутые вверх поднимающимся из них черным дымом, пароходы у портовых причалов, неуспокоенно снующие от берега к берегу лодки, пыхтящие тупоносые катера, показался, и одинокий осокорь на берегу, у которого так долго и верно ждала Его Она, и обласканное любовью сердце сдавила, утихшая было тревога, - они возвращались в суетный, недобрый мир большого города, который не признавал самой возможности чужого счастья. Там, среди домов и улиц, таилась и та Злая Сила, которая поклялась обречь её на вечное одиночество. В тоске почувствованного страха Она прижалась к Нему. Он обнял Ее и ощутил дрожь её плеч, все поняв, успокоил.

- Однажды, помнишь, я сказал тебе: обстоятельства могут задержать, но остановить не могут. Теперь уже нет силы, способной нас разлучить...

Они прожили неразлучно в любви и согласии еще полвека, начиная с этого памятного для них дня!..





К реке приходил я по вечерам. Пристраивался в уютной впадинке берегового откоса, прикрытой разросшейся здесь травой, умиротворяясь одиночеством, смотрел в заречные дали, где по-летнему нехотя меркло заревое небо с растянутой по горизонту грядой недвижно светлых облаков.

Пустынно бывало в этот поздний час у реки, никто не мешал думать, смотреть, вслушиваться в шорохи и звуки оживающей к ночи земли.

Но в этот раз одиночество мое было нарушено: рядом, за изгибом высокого берега, кто-то разговаривал, и голоса, хотя и сдержанные, отраженные гладью реки слышались отчетливо.

Говорил, видимо, старый человек:

- Вчера ты спросил меня: отец, нравится тебе моя девушка? Я промолчал. И ты не повторил свой вопрос. Мое молчание ты понял по-своему. Я и сейчас не скажу, нравится ли мне твоя девушка. Она нравится тебе. Глаза мои видят по-другому. То, что знаю я, еще не узнал ты. В свое время, когда я был в твоём возрасте, о том же говорил мне мой отец. Я выслушал отца, но делал по-своему. Думал, что может знать отец о моих чувствах? И, как понял потом, повторил многое из горьких его ошибок. Отец умудрен был прожитой жизнью. Я же видел только рассвет, когда и капля росы кажется алмазом.

- Ты был мал, когда твоя мама, и ты вошли в мою жизнь. Мне казалось, я был тебе отцом. Или это не так? Теперь можешь сказать об этом...

- Папа! - молодой голос прозвучал с такой взволнованностью, что не зародилось капли сомнений в родственной близости разговаривающих друг с другом людей.

Старый человек кашлянул, сказал в некотором смущении:

- Рад, что не ошибся.

Некоторое время на берегу, где сидели они, было тихо. Река бесшумно текла, прикрытая вечерним туманом. Старый человек снова заговорил.

- До того, как узнал я твою маму, я был женат, до сих пор не могу понять, что повлекло меня соединить свою жизнь именно с той женщиной. Порой, кажется, что не мы выбираем, выбирают нас они, женщины. И мы покоряемся их выбору, даже смутно не сознавая, что ждет нас там, за порогом семейной жизни.

Нетерпеливый голос перебил голос старого человека:

- Пап! А все-таки скажи, ведь девушка моя красивая?

Старый человек сдержанно вздохнул.

- Видишь ли, сын. В молодости мы слишком доверяем видимой стороне жизни. Мы еще не догадываемся, что под внешней, зримой стороной бездна сложностей самой жизни. И мне мои друзья тоже в один голос твердили: "Ну, чего ты раздумываешь? Девчонка твоя - красавица. Женись!..". А слова, которые я должен был сказать своей красивой девушке, и которых, как я чувствовал, она ждала, я никак не мог произнести. Что-то стояло между нами. Я не понимал - что? Она сама помогла мне. Милой улыбкой, ласковым поглаживанием моих рук, заставила забыть о будущем и додумать, о настоящем. Я произнес слова, которые миллиарды раз произносились во всех поколениях человечества.

Она обняла меня, благодарно поцеловала в лоб. Так стали мы мужем и женой...

Старый человек, видимо, взволнованный воспоминанием, долго молчал. Наконец, с явно слышимой горечью спросил:

- Знаешь ли ты, сын, что такое одиночество вдвоем? Два человека живут в одной квартире, едят за одним столом, спят в одной постели, и каждый из них - одинок! У каждого свои мысли, свои желания, свои интересы. Хотя все считают их отличной семейной парой.

Должен сказать, до жены я не знал женщин. Мама моя была удивительно романтической натурой. Еще в юности внушала мне, что я обязательно должен дожидаться любви возвышенной. Я дождался. И естественную благодарность за первую испытанную близость женщины принял за любовь.

Ты должен знать об одной из важных сторон семейной жизни. Говорю об интимных отношениях между мужчиной и женщиной. Когда на правах мужа я оказался в постели с женой, мне показалось: в мире нет большей радости, чем радость обладания женщиной. Но, во всем всегда есть свое "но". Прошло время, упоение физической близостью превратилось в обыденность семейной жизни. И проступили скрытые прежде тонкости супружеских отношений.

Мог ли я знать, что жена моя окажется женщиной фригидной, совершенно равнодушной к объятиям и ласкам мужчины? Одно это уже ставило нас в неравное положение. Я искал ответной ласки, но ее не было. Нет, она не отказывала мне, знала, что близость с мужем входит в обязанность жены. Но эту свою обязанность она лишь снисходительно дарила. И то, что должно было бы быть взаимной радостью, оборачивалось униженностью одного из нас.

- Ну, пап, такое мне не грозит! - в молодом голосе не трудно было уловить упоение уже познанной тайной.

- Подожди, сын. Не торопись. Ты еще не узнал, что может скрываться за восторженностью первых встреч.

Год мы прожили в относительном благополучии, но тут случилось... Что только ни делала она с собой. Сколько проклятий было вышвырнуто на мою голову, сколько пролито слез. А все из-за того, что должен был появиться на свет маленький человек. Она неистовствовала, кричала, что пеленки, соски, бессонные ночи несовместимы с её артистической карьерой! Переубедить её я не мог. Когда она вернулась от врача, в выражении её красивого лица, в прищуре холодных глаз, была непреклонность английской королевы. Она сказала: «Запомни раз и навсегда: никакого потомства, никогда, ни при каких обстоятельствах, у нас не будет!».

- Тогда впервые я задумался о смысле семейной жизни.

В наступившей тишине отчетливо слышалось, как в водах реки тяжело плеснула рыбина.

Молчание нарушил нетерпеливый голос:

- И что потом, пап?..

- Что потом? - произнес в задумчивости старый человек. - Потом, светленькое утро сменилось сереньким днем. Не знаю, есть ли более тяжкое испытание для человека, чем безрадостность семейной жизни. Я пришел бы в ярость, если бы на пороге женитьбы кто-то предсказал мне, что любимым занятием моей жены будет сидеть, поджав ноги, в углу диванчика, перелистывать часами иллюстрированные женские и театральные журналы, попутно выуживать из поставленной вблизи вазочки конфетки, посасывать их.

Ни разу не увидел я в её руках какой-либо серьезной книги, ни разу не услышал вопроса о жизни какого-то интересного человека, о смысле самой человеческой жизни. Интересовали ее только собственные успехи, пустые разговоры с подружками по театру, примерка кофточек и париков.

Все это, к сожалению, узнается потом, когда романтика улыбок, поцелуев, ласк сменяется буднями. Когда уже не надо стараться, когда всё становится обыденным, изо дня в день повторяемым... Молодой голос осторожно спросил:

- Пап! А вот скажи; если бы в этом самом, ну, в физической близости, все было хорошо, вы бы не разошлись?

Старый человек ответил не сразу:

- Что сказать, сын. Понимаю, что волнует тебя. Но боюсь, ты не услышишь того, что надо бы услышать. Видишь ли, при известном такте, терпимости, уступчивости можно и не совсем сложившуюся интимную жизнь сделать приемлемой. Но при одном обязательном условии: при обоюдной деятельности духовной жизни.

Вижу, лицо твое поскучнело, Да, заболтали нынешние непросвещенные пастыри это великое понятие. Да и ты в том еще возрасте, когда чувственные порывы заглушают зов разумности. Придет время, узнаешь цену радостей неизмеримо более высоких, чем радости объятий и поцелуев. Если, конечно, не отупеешь в обывательской суеде.

Ты был ревнивым свидетелем моей жизни с твоей мамой, должен помнить, сколько усилий потратила она, чтобы прорваться в мир книг, в мир мыслящих людей. Духовность - это ведь не просто молитвы в ожидании божественного озарения, это способность и потребность постоянно мыслить, познавать взаимосвязи всего сущего, приобщаться к богатству мыслей, накопленных человечеством.

Маме это приобщение далось трудно. Многие годы упорных занятий бессонных ночей, вперемежку с постоянными семейными заботами, с беспокойством за тебя, за меня. Но к неохватному миру духовности она приобщилась. Хотел бы сказать тебе, что полнота общих интересов скрепляет соединившихся в семью людей крепче брачных свидетельств и гербовых печатей. В естественной для молодости эгоистичности, ты многое мог не разглядеть. Боюсь, не оценил ты в маме и редкое, до сих пор еще редкое человеческое качество - она умеет радоваться чужой радостью. И не просто радоваться. Самоотреченно делает все возможное, чтобы вспыхивала радость в глазах другого человека...

- Могу признаться, помолчав, заговорил снова старый человек, поначалу мама распахнуто, безраздельно отдала мне всю ласковость и заботу, что даны ей были от природы. Да, сначала мы познали всю полноту радости от близости друг к другу. Это было так. Лукавить не хочу...

- Вот видишь, пап! - восторжествовал молодой голос - Вот, видишь! И у тебя все начиналось с этого самого, с чувства...

- Ты прав, - согласился старый человек. - Начиналось с чувства. Но ты смалодушничал в своем торжестве. Ты как будто забыл, что было потом. Если бы не многие годы самоотверженных усилий ума, отданных мамой на свое духовное возвышение, не было бы у нас тех тридцати лет согласия, понимания, той интересно прожитой жизни, в которой участвовал и ты. Видишь ли, близость физическая ограничена минутным удовлетворением, при том она повторяема в природной своей неизменности. И потому таит немало коварств. Попробуй принудить себя съесть подряд два-три обеда, тебя отвратит от еды. Таково свойство всех физиологических потребностей, заложенных в нас природой. Духовная жизнь тем и отлична, что она нескончаема, неповторяема, пополняется все большими и большими радостями от познаний, открытий, от постоянной обогащающей душу работы ума. Мы избежали нудной засасывающей обыденности.

- Пап! Ну, почему ты думаешь, что у нас будет как-то не так!? Она же не только красивая, она заботливая. Она думает обо всем наперед, знает, как мы будем жить!

- Да, говорила девушка твоя маме о вашем будущем. Видится оно ей примерно так: "мы будем жить в большом доме, на втором этаже, в квартире, по-современному обставленной. Внизу, под нами, будет ресторан, мы будем спускаться туда, завтракать и обедать. А по вечерам принимать гостей, болтать, танцевать, смотреть видики...".

- Ну, и что в том плохого, пап! Мы еще молоды, хочется красиво пожить. И потом, время сейчас другое!..

- Да, время сейчас другое, - скорбно вздохнул старый человек. - Но смысл жизни не изменился, сын...

На берегу наступила тишина. Последние слова старого человека, казалось, повисли в сгустившемся вечернем сумраке, все вокруг как бы застыло в ожидании: ни плеска в реке, ни шелеста ветра в прибрежных тальниках. Только на противоположной луговой стороне громко затрещала протяжным гребенчатым звуком коростель.

На откосе, где сидел отец с сыном, послышался шум осыпающегося песка: кто-то там встал. Молодой голос повинно и неуступчиво произнес:

- Пап, ну, я пойду. Она ждет...

Старый человек не ответил. Слышно было, как удаляются от реки шаги. Лишь коростель на луговой стороне трещала и трещала, не ведая человеческих печалей...







Я ее встретил на улице, было очень скользко, я шел медленно, опираясь на палочку\*.

- Помочь Вам? - услышал я.

Идти мне было трудно, и я сказал:

- Помогите.

Мы познакомились:

- Жанна, - просто сказала она. Жаноча...

- А меня, - я никак не знал, как себя назвать, но она опередила меня:

- Кто же Вас не знает? Вы, писатель, Корнилов Владимир Григорьевич!

Я удивился. Так мы познакомились, она проводила меня до трамвайной остановки, посадила, и хотя я был зол и хмур, она расшевелила меня. Меня после института послали работать в этот большой волжский город. Город мне сразу не понравился, наверно это после таких городов, как Москва, где жил и учился, Ленинград, где родился. Но Волга, Волга меня покорила, и я остался в нем работать...

---

\* Авторство В.Г. Корнилова в написании этого рассказа вызвало сомнения у издателей. Скорее он более похож на очерк, написанный на автобиографическом материале его последней спутницей жизни, супругой и бессменным секретарём - Жанной Павловной Кокоревой-Корниловой. Она же и включила его в посмертно изданный сборник рассказов «Мои невесты». Однако, отдавая дань почти полувековому пути, пройденному ею рядом с Владимиром Григорьевичем, мы без изменений включили этот рассказ-очерк и в этот сборник. - Примечание редактора.

Жанна часто поджидала меня после работы, сама она работала, здесь, рядом, в исполкоме. Когда меня встречал отец, она, как-то растворялась. Тогда я жил вместе с отцом и матерью.

Иногда, когда была хорошая погода, мы шли с Жанной через площадь, жил я недалеко, и только непогода утрудняла мою ходьбу.

Жанна жалела меня, и взяла надо мной шефство. Как-то, когда мы заговорили об этом, она просто, по-детски сказала:

- А ведь я была тимуровкой, в войну помогала раненым, пели в госпиталях им песни "Землянку", "Дороги", "Шумел сурово Брянский лес", читала стихи Пушкина, Лермонтова, Симонова. Да и старушкам, всем своим соседкам, помогала, то дрова поднесешь, то воду... И столько радости у них в глазах, и я сама довольна, что сделала доброе дело...

Ведь Вы - Фронтовик, герой?!

Я что-то начал говорить, какой-то вздор.

А она объяснила: живу - рядом, работаю - рядом, освобождаюсь раньше Вас, могу прогуляться, после душных и прокуренных комнат... Так что могу продолжить свое шефство?..

Ну, что я мог сказать, я уже начал привыкать к ней. А когда после работы подходил мой отец, я невольно поглядывал вокруг, ища глазами яркую красную шапочку, она носила такую, и как бы говоря, не видя её: «Ну, я пошел», зная, что она видит меня. И как-то даже я скучал, когда её не было, даже не мог разобраться, что же такое со мной происходит... Начал постоянно думать о ней...

А когда она провожала меня, мы говорили с ней обо всем, казалось, уже до зимы, мы обговорили, что живет она на Чапаевской улице, где была моя работа, здесь ее все знали, знакомых у нее полно, все здоровались с ней, а мне почему-то это не нравилось... Она рассказывала, кто у нее мама, отчим, кто у нее бабушки, дедушки, - мне, как ни странно, все было интересно. В Куйбышеве я познавал жизнь вокруг, вглядывался в людей. И они начали мне даже нравиться.

Однажды, она, дожидаясь меня, замерзла, и забежала к нам на работу погреться, и кто-то крикнул: "А вот и снегурочка к нам пожаловала!". Мы пили чай, посадили и её, а когда я ей подавал пальто, приобнял её, она, как будто не поверила, посмотрела на меня, но я сделал вид, что ничего необыкновенного не произошло. И она подумала, что это ей показалось...

Мне, наконец, дали машину с ручным управлением, и я долго осваивал её - то одно не получалось, то другое.

Увидев Жанну, я часто звал её, но она только помашет мне ладошкой, и крикнет: "Теперь справитесь сами!"»

А весной, в мае, когда она провожала меня, я спросил:

- А на лодке поедешь кататься, раз на машине не хочешь? Приходи завтра на берег. - Придешь?..

- Приду, - сказала она.

Назавтра я копался в моторе, лодка что-то барахлила... Со мной был знакомый Павел-рыбак, хотел помочь, но что-то не слушался нас мотор. Подходит Жанна, говорит:

- Обещали покатасть? Катайте!..

Я что-то забормотал, что вот мотор барахлит, и тут сразу Павел:

- Давай, покатаю тебя с ветерком, у меня мотор в полном порядке.

Я сержусь, у меня от такого разговора еще больше ничего не получается.

Жанна говорит:

- Чините, чините, обязательно заведется! Я счастливая.

У меня прибавилось сил. Наконец, мотор заработал, и Жанна сразу отреагировала:

- Говорила, что заведется!

И мы вылетели с ней на простор Волги, Павел с завистью поглядывал на нас...

... Но случилась со мной беда, прямо с совещания увезли меня в областную больницу с приступом аппендицита. Я так растерялся: квартира была не заперта, родители уехали в Ленинград навестить родственников, и я не хотел тревожить их. Нужно было как-то запереть квартиру, принести кое-какие вещи, рукопись. Кого попросить? Конечно, Жанну. Она сразу прибежала, по-деловому, как-то сразу проникла в палату, со всеми перезнакомилась, одного покормила с ложечки, другого перевернула, сменила белье. Мне она ничем не могла помочь, я лежал как пласт под наркозом, и, забрав заказы кому что принести (мне можно было только морс и бульон) вдруг громко сказала: «А как быть с квартирой, ведь по городу бродят жулики, "Черная кошка"?».

Её стали уверять в палате, что все это "чепуха, жулики, банда", но она со страхом взяла ключи и убежала.

А на утро, она была уже у моей постели, с невыспанными глазами.

- Караулила? - спросил ее тихо, она кивнула головой. - Да, не думай ты о квартире! - сказал я. Она шепнула:

- Да, не думай, подходили ночью к двери, шептались, но я была на карауле!..

Тихонько я ей говорю: "Береги себя, Жанночка, и еще тише, - ты мне нужна!" - Я впервые назвал ее так, но она пропускает это мимо ушей, не слышит, или может, подумала, что опять ей что-то показалось.

Побежали больничные дни, она меня навещала каждое утро как часовой, с добавочной едой, это чтобы я скорее поправлялся, соседи по палате тоже её ждали, в больницу всех не пропускают, а она как-то проходит в халате. Всем, как полагается, скажет доброе слово, принесет что нужно, и у всех на лицах появляются улыбки.

Вообще, Жанна несла на себе, какое-то радостное настроение. Вот и сейчас прибежала, всех обласкала своей улыбкой, одному принесла мягкую большую булку, очень любил сосед мягкие булки! Другому притащила какое-то необычное мыло. Спрашиваю её, разве тебя просили?..

Она шепчет мне: "А Вам, особый подарок в холодильнике, дома, на поправку". Она все время называла меня на Вы... Спрашиваю: "Говори скорее что такое?".

- Да, щука, аж на 10 кг!..

- Откуда??

Жанна начинает рассказывать, что идет она, смотрит, на углу рыбак продает, свежую рыбу, не рыба, а чудо, как раз для Вашей поправки. Не поверите - с меня ростом! Спрашиваю: "Сколько?", - хмуро отвечает тридцать. Я пробую рядиться: "А за двадцать пять? Он - ни в какую! Вынимаю тридцатку, (дорого, но ведь Вам надо поправляться!) три десятки, беру рыбу за веревку, а хвост щуки по асфальту так и тянется... А рыбак глянул на меня, и я увидела, что это был Ваш Павел, дружок. Он начал обратно совать деньги, да разве я возьму... Вот такие пироги получились...

Я от ее рассказа заревновал, погрустнел, она попробовала меня развеселить, и тут дверь открывается и входит мой отец, он в испуге. Как да что? Я ему: "Вот моя спасительница!"

Он меня о чем-то спрашивает, а спасительницы уже и след простыл.

... Прошло два или три дня, звоню Жанне:

- Это я, твой больной, уже здоров, как бык, но врачи, да и домашние мои еще не разрешают ходить, бояться, как бы швы не разошлись... Ты там еще никого не провожаешь, а то ведь без шефства ты не можешь? - В голосе моем звучала ревность.

Она обиделась, но вида не подала, сказала, что отчет, что занята делами, да и вообще дел на работе полно, и сказала, что пока никого не провожает. "Пока?" - переспросил. Она хихикнула в ответ, но лежа дома я, все думал о нашем разговоре, и он мне не понравился...

"А может, это та самая женщина,- думал я, которая дана мне самим Богом? А я... ". Правда, мы с ней никогда не говорили о любви, думал всегда о ней, как о парне, которого бы я взял с собой в разведку... И к утру я думал так, вот встану и все ей скажу...

В воскресенье, мы с отцом пошли погулять до площади, посмотреть на новогоднюю елку, на площади было веселое зрелище, детишки катались на коньках, лед был около ёлки, и в кругу малолеток, я увидел ее: она была на коньках, и держала за шарф малыша. И когда он падал, она его уговаривала: «Держись, поднимайся! Ну, молодец, молодец!».

Я окликнул ее, она оглянулась на зов, потянув малыша за шарф, я спросил: "Как ты очутилась здесь?".

- Да, вот, с сыночком пришли покататься, давно я ему обещала... Да и елочку посмотреть, в другие дни он в садике, а сегодня воскресенье, вот и собрались!..

Оба были покрасневшиеся, запыхавшиеся.

Я так удивился: Жаноча, малыш, садик?.. Я не верил, что она - мать, а может это ее брат, племянник?..

После этого дня я ее не видел, а когда встретил, потащил её к своим друзьям, показать. Появились мы у Михаила Трофимовича, редактора нашей газеты, а на столе гора пельменей. Нас засадили за стол, мы отказывались, видит Бог, но запахи!.. Мы сели за стол, Жанночка чувствовала себя не в своей тарелке, ведь она привыкла угощать, радовать, а тут... Но пельмени были такие аппетитные и вкусные, мы не устояли, и хотя там было не просто, она все же сразу сошлась в разговорах с хозяйкой, и уже, как будто были они знакомы всю жизнь.

Однажды, я попросил ее съездить к своему заболевшему товарищу, не терпелось услышать, что скажет и он. А жил он на даче, на Поляне Фрунзе, в маленьком домике, она не отказалась, и мы поехали на трамвае. Сколько было рассказов, как ездила она летом к своей сослуживице, рассказывала об улицах, которые мы проезжали, про дома купцов, которые здесь жили раньше. И все это было так интересно, город мне открывался уже и с другой стороны, и уже не казался таким, каким он меня встретил. Мы не заметили, как подошли к калитке приятеля, а была уже поздняя осень и накануне выпал снег. На снегу лежало два яблока, мы схватили их, (подумали, что приятель оставил для нас, чтобы мимо не прошли) и сразу принялись их хрупать...

Приятель мой так расчувствовался, что увидя нас жующих, рукой показал на гору яблок в углу:

- Эх вы, горожане, горожане, - разве вы увидите столько, показывая на яблоки, которые лежали в накат от пола до потолка...

Мы разговорились о рукописи, писателях, болезни, а спутница моя уже была у камина, быстренько разожгла его, благо дровишки были рядом, и чайник уже засопел, созывая нас за стол. Пили чай с яблочным вареньем, а потом запели песни, одна была особенно задумчивая: "Ничто в полюшке не колышется, только грустный напев еле слышится..."

И я подумал, вот как она умеет уловить настроение эта чудная маленькая женщина, а приятель от нее был в восторге.

... Я часто думал, может, действительно, мне нужна такая женщина, но мы с ней почему-то никогда не говорили о любви. Когда я начинал, она обычно говорила: «Нажилась, налюбилась, не хочу, не хочу, не хочу». Она была, как тот парнишка, которого бы я взял с собой в разведку, но когда она отдалялась, мне все чаще и чаще хотелось ее видеть и быть с ней рядом...

Как-то дома, за чаем, я заговорил о ней, вмешался папа, но маме вдруг захотелось познакомиться с Жанной. Для меня мама всегда хотела жену необыкновенную: или певицу, или музыкантшу, наконец, может художницу. Мама моя немного пела, рисовала, читала французские книги.

А я в женщинах совсем не разбирался, был с ними робок, не зная, куда деть руки, как заговорить, знал, что мне нужна помощница, как Жаноча, но чего-то боялся...

А вот мама решилась: "Познакомь меня с Жанной!", - я запротестовал, я знал, что Жанна совсем не в ее вкусе, да еще служащая... "И не поет?- пробовала спрашивать меня мама, - и не играет?".

Но все же она решилась сама на знакомство, вызвала Жанну по телефону в сквер, напротив, около работы.

Жанна, ничего не подозревая, вышла, простенькая такая, совсем незаметная, не яркая, в толпе и не заметить, а мама, назвав себя, стала расспрашивать её о наших отношениях.

- Какие отношения? Помогала Вашему сыну, вижу, что трудно ему ходить одному, провожу до трамвая, или через площадь, я привыкла всем помогать, разве нельзя? Доведу до дома и возвращаюсь, здесь рядом и мой дом. Или вот, в больницу к нему бегала, как не помочь, мало ли что... Конечно, первым делом я хотела Вас вызвать, а Владимир Григорьевич не разрешил, говорит, зачем волновать родителей, я и подумала, правильно, зачем волновать, мне было нетрудно и квартиру закрыть, и поухаживать за больным, ведь одному в больнице плохо, нужно дополнительное питание, газеты...

- А вот, как смотрите, ведь у него ног нет, и приложила платочек к глазам, - все война...

А Жанна не задумываясь, ответила:

- Да? А я и не заметила, ну палочка и палочка, ну хромает и хромает, значит, надо помочь... - она не понимала, что от нее хотят. Мама еще спрашивала ее о сыночке, и она, как взрослая женщина, отвечала:

- А что, сыночек, сыночек как сыночек, уже большой, - мы с ним везде вместе, за ним особого ухода не нужно, все сам умеет, и дрова мне принесет, и воду...

- Да, сколько ему лет? - спрашивает мама.

Жанна гляделась совсем молоденькой девчонкой...

- Пять, совсем самостоятельный мальчик, даже за хлебом сам ходит.

С каждым ответом, мама все удивлялась... (это уж потом Жаноча мне сказала), а дома мама за обедом сказала: «Ты знаешь, сын, она такая маленькая...» - и все. В доме ничего не менялось, и про Жанну все, как будто забыли...

А я все время думал о ней, о моей маленькой, заботливой женщине. О любви мы не заговаривали, но я чувствовал, что она смотрит только на меня, она как-то не замечала других мужчин, хотя многие говорили ей комплименты... Может она просто жалеет меня? А раз жалеет, может, полюбит? Или полюбит потом? Я уж постараюсь... Я буду её жалеть, думал я, беспокоиться о ней, заботиться... Вот так раздумуюсь ночью...

Нужно брать ее с её сыночком, со всем ее прошлым, взять и начать всё сначала, чтобы никогда не вспоминать, что было там, в прошлом... Ну, сыночек её, ведь это ее продолжение, продолжение ее рук, как будто это она сама, единое... Ведь женщина никогда сама не скажет о своем отношении к мужчине, надо самому, и я решил - вот встану и сразу пойду к ним и все решу разом...

Но легко было думать об этом ночью, и вот настал день... И думы. А вдруг она меня не любит, это меня страшило, и тогда сразу все оборвется.

И я решился. Зашел к ним, они были дома, на меня пахло уютом, дымком пахивало от печки. Вовка, сыночек, маленькой кочергой шуровал в печке дрова, она гладила белье. Удивились, гостей не ждали, но сразу сели за стол, закипел на плитке чайник.

И я решился и спросил тихо:

- Жаноча, ты меня любишь?

Она молча кивнула.

- Пойдешь за меня?

Опять кивок.

- А если все вместе уедем из Куйбышева? - я знал, что она очень любила свой город.

И опять кивок.

Я задавал и задавал свои вопросы.

Жанна Павловна стала единственной для меня женщиной на всю жизнь.

И вот 45 лет мы с ней были вместе.

апрель, 2002 г.







Из дневника<sup>\*</sup>: «... я хочу, чтобы ты знала: не только я сам, но и мысли мои постоянно с тобой... Может быть, и запись прежних размышлений скажет тебе о постоянных моих думах, о несовершенствах наших будней, которые - увы! - не всегда мы способны изменить.

Занимаюсь разными домашними делами - то холодильник сломался, то терраску, то лодку надо красить, то траву в огороде выбивать... Ты недовольна, всякая моя работа тебе поперёк горла: «На что время тратишь?!».

И всё-таки копошишься с делами, и каждое из дел кажется важным. Думаешь: не всё же тебе всем этим заниматься? Обеды, кормёжка, посуда, огород и так отнимают всё твоё время, все твои силы...

... Я продолжаю восстанавливать и совершенствовать то, что нарушается в процессе будничной нашей жизни. И всё время живёт во мне сознание необходимости, важности тех дел, которые я делаю.

И вот в какой-то момент силы твои вдруг надламываются, ты валишься на кровать с давлением, со сверканием в глазах...

---

<sup>\*</sup> Этот рассказ был впервые опубликован в специальном выпуске приложения Костромской областной газеты «Северная Правда» - «СП - КУЛЬТУРА», 23.08.2002г. (№158), полностью посвящённом В.Г.Корнилову. В дальнейшем, редактор первого издания сборника «Мои невесты» почему-то не включила в него этот рассказ. Не смотря на то, что он являлся, в первую очередь, наброском для главы в незавершённом автором романе «Жизнь», мы посчитали уместным и необходимым опубликовать его здесь, именно в этом сборнике... (Примечание редактора)

И сразу мои отношения с моими делами меняются. Сразу сознаёшь всю необязательность тех хозяйственных дел, которыми только что был озабочен. Всё становится ненужным. Охватывает вдруг возникшая в доме пустота. И понимаешь, что значит моё земное бытие, без твоей улыбки, вопрошающего взгляда, без твоего постоянного теплого присутствия в моей жизни!..

Всё материальное - ничтожно, преходяще, временно, не определяет, не может определять человеческую жизнь! Главное - это наше человеческое, духовное родство с тобой, в нём и в ней опора, удерживающая меня на этом свете, опора всех моих творческих стараний. Сознаёшь это только в такие вот драматические моменты. Сознаёшь, переживаешь... Возможно ли всё это изменить? Может быть так и устроена жизнь?».

...Они прожили длинную жизнь, и он всё время боялся потерять её... Потеря явилась нежданно и ополовинила жизнь его. Искал всё время уединения, жил уже безвыездно на хуторе, у леса и озера, созданного его усилиями и вписавшегося в окрестную жизнь, как будто с её изначальности. Вечерами, как прежде, при ней, он скидывал, с каждым днём казавшиеся всё более неподъёмными протезы, освобождено садился в верную свою лодочку, плыл среди кустов и стволов отмерших уже ольховин и берёз, выплывал на чистый плёс. Приткнувшись к камышу, неотрывно смотрел на закат, куда уходил, медленно меркнул ещё один день его жизни...

В сумерках садился он на терраске, тоже сделанной и верно служившей ещё при ней, запрокинув голову, смотрел с неподвижной качалки в звёздное небо. Тишина на лугу, в лесу, на озере казалась ему скорбным даром природы последним его дням. От той, второй, суетной людской жизни, он ушёл. У него уже не было сил быть в ней: тот опыт, который зовётся мудростью, и который он познал, в уединении отдавал листкам бумаги, даже без надежды на то, что когда-то кому-то поможет он проникнуться познанными им законами жизни, которые люди почему-то величают тайнами. Он ушёл из мира людей, где вновь и вновь закипали страсти, где боролись зло и добро, корысть и бескорыстие, где одна страсть на какое-то время одолевала другую, и эту одолевала новая страсть, и над всем поднимался в мучительном борении со страстями разум, побуждая человека двигаться к Человеку и к Человечному Бытию.

Что мог ещё он сделать для возвышения силы человеческого духа, человеческого разума: жизненную энергию, которая была заложена в него, он же отдал всё-таки разуму - не страстям. И сожаления о том, что не так он прожил свою жизнь, что мог прожить её как-то по-другому, у него не было.

Он смотрел в бесконечность звёздного неба, внимая скорбности тишины уходящей в ночь земли, медленно остывающей от напряжённости дневного движения жизни, и мысль о возвращении его из вторичного людского мира в изначальное для всего сущего и каждого человека - в мир природы, в мир неотвратимо движущейся материи, от вечера к вечеру всё более овладевала им, становилась всё более определённое и ближе, а в конце-концов стала как бы сутью его души и тела.

Однажды, вот также под вечер, он уже отсмотрел закат, провожая день, тихо порадовавший его и тёплым легким ветерком с приречных лугов, и запахами ещё не завершённого сенокоса. Этот волнующий, будто ласкающий запах свежего сена, навсегда связала его память с Семигорьем. И с ней, с его любимой, будто рождённой из этого вольного, щедрого духа земных трав! В успокоении от завершённого ещё одного дня, он, пристегнув протезы и подпирая себя двумя палочками, тяжело двинулся в горку к дому, как вдруг почувствовал, что задрожали руки, стало душно ему, как бывало по ночам, когда в бессонных тяжёлых думах, он начинал ворочаться в одинокой постели, садиться, растирать горло, будто не хватало ему воздуха.

Он не дошёл до дома. С трудом передвигая протезы, прошёл чуток песчаной дорожкой вдоль озера, опустился, почти упал на траву под ольховую прибрежную поросль. Хотел отдышаться и уже не смог!.. Тут и нашёл его пастух, пригнавший поутру стадо к озеру.

Его побитое войной, изуродованное тяжким прижизненным напряжением тело, похоронили тут же, рядом с домом (договор такой был, ещё при жизни). Тело его, поскольку оно было бранным, снова ушло в свою прародительницу землю...

А то, что создано было духом его: мысли, чувства, открытые им истины, та жизнь, сквозь которую прошёл он, терзая тело и душу, всё, что осталось на исписанных его рукой листках бумаги - в слове, образе, в изречении - осталось у людей, в той вторичной, человеческой жизни, ради которой он жил и старался.

И если кто-то из ещё живущих прикоснётся к его духу, оставшемуся в слове, укрепитя в желании возвышения Человеческого в себе, о чём так старался он, то можно думать, что одна из жизней, составляющая общий дух человечества, была бесполезна...



# ОГЛАВЛЕНИЕ

Коротко об авторе .....	3
Незабытые письма .....	5
Даша .....	28
Роза .....	35
Две Анюты .....	45
Любушка .....	54
Лёля-душечка .....	70
Аллочка .....	81
Вечный август. История любви .....	95
Отец и сын .....	106
Жанна .....	112
Маленький рассказ о любви .....	120



Владимир Григорьевич Корнилов родился 22 марта 1923 года в городе Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. В Белоруссии под Витебском получил тяжелое ранение.

Окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве. Автор романов "Семигорье", "Годины", "Идеалист", повестей "Лесной хозяин", "Искра", рассказов и очерков.

Более 30 лет возглавлял сначала Куйбышевскую, а затем Костромскую писательские организации. Избирался секретарем Союза писателей России. Лауреат Государственной премии России.

В сборник рассказов "Мои невесты" вошли рассказы последних лет, не публиковавшиеся при жизни.